

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



—8—

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Сергей Сорокин
Битва за Москву 1941 - 8
Серия «Битва за Москву», книга 8

<https://litres.ru/74450783>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосьмилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	24
Глава 3	43
Глава 4	62
Глава 5	80
Глава 6	98
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 8

Москва 1941 Том 8

Глава 1



Дорога шла лесом, и снег на ней был разбит в бурую кашу до самой земли — прошли до нас и пехота, и повозки, и кто-то тяжёлый на гусеницах, — а по краям, под елями, лежал ещё белый и чистый, и от этого середина дороги казалась особенно грязной.

Тягач шёл третьим от головы колонны, и за ним на крюке качалась сорокапятка с передком.

Я шёл сбоку, шагах в десяти, по обочине, где нога проваливалась, но хотя бы не скользила, и слушал. Не потому, что понимал в моторах, — я в них не понимаю почти ничего, — а потому, что за трое суток этот мотор стал для меня таким же предметом наблюдения, как немецкий пулемёт: у него есть свой обычный голос, и если голос меняется, то меняется что-то ещё.

Пока он не менялся. Он тянул ровно, тяжело, с той низкой трудовой нотой, которая у трофейной машины была, кажется, единственной.

Тимохин сидел на подножке справа, прижавшись плечом к дверце, весь сизый от холода, и смотрел не на дорогу, а куда-то вбок и вниз, под кожух. На остановках он менялся со мной, отогревал ноги в кабине. Теперь, на малом ходу, опять слушал машину снаружи.

Вера Самойлова шла впереди, у передка, рядом со своим первым номером, и я видел её спину в короткой шинели и то, как она через каждые несколько шагов оборачивалась — не на меня, а на орудие, проверяя, как оно идёт по колее.

Всё было хорошо ровно до того места, где дорога пошла в небольшой подъём и сузилась.

Тимохин застучал по дверце. Жаров сбавил до остановки; только тогда парень спрыгнул, обошёл машину и сунулся в левое окно. Я не слышал, что он сказал. Я увидел, как Жаров повернул голову, выпрямился, и рука его сама пошла вниз, к рычагу.

Тягач сбавил и покатился.

— Стой! — крикнул Жаров в окно, и потом уже мне, потому что я успел подойти: — Гринёв, я встаю. Не здесь. Вон за поворотом, там обочина шире, я колонну не запру.

— Что у тебя?

— Потом, сперва встанем.

Он провёл машину ещё метров сорок — медленно, почти шагом, — и поставил её у самого края, так что правая гусеница ушла в целину и тягач осел набок, но проход остался: повозка пройдёт, и даже полуторка пройдёт, если возница не дурак.

Мотор он заглушил не сразу. Подержал ещё немного на малых и только тогда выключил.

В наступившей тишине стало слышно, как впереди, за лесом, кто-то далеко и лениво постукивает — не очередями, а одиночными, будто и правда постукивает молотком по железу.

Я послушал далёкие выстрелы и повернулся к машине.

— Ну, — сказал я.

Жаров вылез, обошёл машину и открыл кожух. Оттуда пахло горячим — не соляркой, а именно горячим железом, тем сухим запахом, который ни с чем не спутаешь.

— Тимоха, — сказал он Тимохину, — что слышал?

— Не так. — Тимохин топтался рядом и тёр нос рукавицей. — Он на подъёме... там раньше было одинаково, а сейчас как будто через раз проваливается. Чуть-чуть. И повиз-

гивает.

— Повизгивает, — повторил Жаров. — Правильно. Значит, буксует.

Он наклонился и посмотрел на ремень — тот самый, подогнанный им перед рассветом из приводного немецкого, с генератора, который мы взяли на складе; вырезанный, подогнанный, сшитый и проверенный на холостом, на коротком круге и на пробной нагрузке, и уже тогда показавший ту светлую нитку у края, из-за которой мы теперь шли с остановками.

Тимохин присел рядом и потянулся к козуху горстью снега.

Жаров взял его за запястье. Не резко — но так, что рука остановилась.

— Не надо, — сказал он.

— Остудить же.

— Остудить. Ты его остудишь с одного боку, а с другого он останется горячий, и на стыке у тебя всё поведёт. Металл этого не любит, а резина тем более. Пусть стоит. Само уйдёт.

— Долго? — спросил Тимохин, всё ещё сидевший на корточках с горстью снега.

— Сколько надо. — Жаров разогнулся и потёр поясницу. — Гринёв, четверть часа минимум. Меньше не проси.

Я не стал просить.

Я обернулся и посмотрел, где мы встали. Просека была узкая, справа склон вверх и ельник, слева канава и кустар-

ник, и над дорогой, метрах в трёхстах впереди, начиналась прогалина — вырубка, старая, с пнями, и через неё дорога шла открыто.

Мы стояли на границе: ещё под лесом, но уже почти на виду у того, кто смотрит с прогалины.

— Юдин, — позвал я. — Возьми Пестерева и двоих, вперёд до конца ельника, до последних деревьев. Дальше не выходить. Смотреть на вырубку и на левый край, там канава тянется.

— Есть.

— Хвостов, назад двести шагов и на изгиб. Если сюда по дороге кто-то пойдёт — не немцы, свои, — придержишь и объяснишь. А то они нам тут за десять минут пробку сделают в три ряда.

Хвостов кивнул и пошёл, на ходу поправляя ремень.

Люди начали было сползаться к тягачу — просто так, погреться о тёплое железо, посидеть, — и я развёл их с дороги в кусты по обе стороны, парами, как привык, потому что стоящая машина на просеке есть готовое место для чужой мины.

Вера подошла, стянув рукавицу, и сунула руку за пазуху — греть.

— Надолго?

— Четверть часа. Он сказал минимум, значит, будет двадцать.

— У меня приказ выйти на рубеж до темноты.

— И у меня.

— Гринёв, ты понимаешь, что если мы встанем ещё два раза, я привезу пушку к шапочному разбору.

— Понимаю. Поэтому давай сделаем так, чтобы третьего раза не было.

Она посмотрела на меня внимательно.

— Что ты придумал?

— Ничего я не придумал, — сказал я. — Арифметика. Он тянет пушку, передок и десять ящиков первой очереди в кузове. Ящики весят ровно столько же, сколько весили вчера, а ремень уже не тот. Значит, надо снять то, что можно снять.

— Снарядов не отдам.

— Я не прошу отдать. Я прошу разделить.

Расчёт у неё был неполный — семь человек вместо девяти, — и по её лицу я видел, что она сейчас скажет: моим людям ещё оружие на руках выкатывать на позицию, и если они придут туда пустые, но без сил, то это будет хуже, чем не прийти.

— Половину возьмём мы, — сказал я, пока она не сказала. — Моё отделение и те, кто идёт с нами налегке. Не всё — половину, и не в руках, а на закорках, в две ходки. Первая ходка идёт сейчас, до вон того места, где дорога заворачивает: там пеньё и куча хвороста, я смотрел, ящики поставим и оставим пару людей. Вторая ходка — когда тягач пройдёт вперёд и разгрузится.

— Ты моим снарядам назначил ночлег в лесу, — сказала она.

— Я им назначил охрану. Два человека и место, которое я вижу отсюда.

Она подумала.

— Какие берёшь?

— Это тебе решать. Какие тебе нужны первыми, когда ты станешь на позицию, — те пусть едут в кузове. Какие вторыми — те понесём.

Вот это её примирило окончательно. Она пошла к машине, поднялась на ступеньку у борта и стала показывать первому номеру: этот, этот и вон те три оставить, а вот эти вниз.

Я поставил людей цепочкой. Ящики шли из рук в руки, и каждый, приняв, делал три шага в сторону и передавал дальше, и на этом коротком движении сразу видно стало, кто сегодня уже вымотан: Дёмин принимал левой и подставлял колено, потому что кисть у него после декабря так и не стала прежней.

— Дёмин, ты в цепи не стой. Иди к Хвостову на изгиб.

— Товарищ сержант, я могу.

— Можешь. А завтра не сможешь. Иди.

Он ушёл, и по спине было видно, что обиделся, и я решил, что объяснюсь с ним вечером, когда будет время; сейчас времени не было.

Жаров тем временем лазил по своей передаче с фонарём, хотя было светло, — фонарём он подсвечивал в глубину, под кожух.

— Тимоха, тряпку. Нет, сухую.

Он вытер что-то, приложил палец, посмотрел на палец.

— Ну вот, — сказал он. — Смотри сюда. Видишь, где он ходит? Он ходит не по середине. Он сюда тянет, к краю. От того и край у него треплется, а не потому, что резина плохая.

Тимохин пригнулся и смотрел долго.

— А почему тянет?

— Потому что перекося. Где-то на полмизинца. Для доброго ремня это ничто, он такой перекося сожрёт и не заметит. А наш с тобой — не добрый. Наш из чужого куска, со швом.

— Поправить можно?

— Немножко можно.

Он взял ключ, выбрал упор, ослабил, подбил чем-то, снова затянул, и всё это делал медленно, по два раза примеряясь, и один раз даже вернул назад — видно, перебрал.

— Вот так, — сказал он наконец, разгибаясь. — Теперь он пойдёт ровнее. Но ты, Тимоха, запомни главное и не перепутай: я его не починил. Я ему облегчил жизнь. Он как был временный, так временным и остался, и он уже начал умирать, и я знаю, что он умрёт, я только не знаю когда.

— А как узнать?

— По звуку и по кромке. На каждой остановке смотрим, как договорились. Сегодня нитка одна; пойдёт новая бахрома — встанем. — Жаров вдруг хлопнул его по плечу, и Тимохин чуть не сел в снег. — Молодец, между прочим. Я на подъёме был занят рулём и слушал хуже тебя.

У мальчишки сделалось такое лицо, что я отвернулся,

чтобы не мешать.

Мы прошли вперёд двести шагов до поворота и сложили пять ящичков у пней, под хворостом, и я оставил там Тихонова и молодого — того, что пришёл с последним пополнением и всё никак не мог запомнить, с какой стороны у него сектор.

— Слушайте оба. Отсюда не уходить, даже если мимо пойдёт вся дивизия и скажет, что вы им нужнее. Ящички артиллерийские, за ними придут наши же, вон тот тягач. Придут — отдадите под расписку в блокнот. Ясно?

— Ясно.

— Повтори.

Молодой повторил, сбившись один раз, и повторил ещё.

Я вернулся к машине. Жаров как раз запускал.

Мотор взял с третьего раза, схватил, выровнялся, и Тимохин влез на своё место на подножке, повернувшись лицом к кожуху, — теперь уже не по-мальчишески, а как человек, у которого есть должность.

— Пойду шагом, пока не прогреется как надо, — сказал Жаров в окно. — И ещё, Гринёв. Я тебе говорю при всех и буду говорить каждый раз: если я скажу «стоп», это будет не потому, что мне лень ехать.

— Я слышал в первый раз.

— В первый раз слышали все, а потом является кто-нибудь с двумя шпалами.

Тогда я ещё подумал, что он говорит вообще, для порядка.

Через двадцать минут выяснилось, что он говорил кон-

кретно.

Мы прошли вырубку — быстро, растянувшись, не кучей, — и втянулись обратно под лес, и там дорога сразу встала.

Она встала не из-за нас. Впереди, метрах в двухстах, поперёк неё лежал завал: три сосны, сваленные крест-накрест, и с них не снятые сучья, и между ними набито ветками — работа не десяти минут и не случайного снаряда, а спокойная, с пилой. Немцы делали её, когда уходили, и делали с расчётом: место, где дорогу нельзя объехать, потому что справа склон, а слева заболоченная низина с редким мелколесьем, куда машина сядет по брюхо на втором метре.

Перед завалом уже собралось: две подводы, полуторка с будкой, какие-то люди с катушками, ещё подводы. Возницы кричали друг на друга. Кто-то пытался развернуться и уже загородил половину прохода.

А от полуторки к нам шёл капитан.

Он шёл быстро, широким шагом, и полы шинели у него разлетались, и ещё издали стало понятно, что он идёт не спрашивать.

— Чей тягач?

Я успел встать так, чтобы он вышел на меня, а не на Жарова.

— Сержант Гринёв. Машина за транспортной группой при батальоне, идёт по наряду с оружием.

— Капитан Орлов, — сказал он, не глядя на меня и глядя на тягач. — Отцепляй.

— Товарищ капитан...

— Ты слышал? Отцепляй пушку, разгружай кузов. Мой штаб стоит шестой час, у меня связь на колёсах и документы, и я должен быть за этим завалом ещё вчера. Машина пойдёт со мной.

— За завалом, — сказал я.

Орлов остановился, не дойдя до кабины.

— Что?

— Вы сказали — пойдёт с вами за завал. А завал лежит. Тягач ваш штаб через сосны не перенесёт.

Он наконец посмотрел на меня — коротко, снизу вверх по мне, хотя был со мной вровень ростом, и я знал этот взгляд: так смотрят, когда прикидывают, сколько времени займёт сломать.

— Завал растащат, — сказал он. — Тягач и растащит. У него лебёдка.

— Растащит, — согласился я. — Под огнём.

— Под каким огнём?

— Слышите?

Он прислушался. Постукивало по-прежнему, редко, лениво — и мне нужно было, чтобы он сам сложил эти звуки с тем, что видит.

— Там дальше немец сидит и держит выход из леса, — сказал я. — Мои у ельника его пока не видят, но он стреляет по одиночным. Как только на завале появятся люди с топорами и трос, он перестанет быть ленивым.

— Тем более, — сказал Орлов. — Тем более надо быстрее. Отцепляй пушку.

— Не отцеплю, товарищ капитан.

Он сделал паузу. Возницы сзади продолжали орать друг на друга, и на этом фоне его молчание было почти громким.

— Повтори.

— Не отцеплю, — сказал я. — Прошу вас отдать распоряжение письменно, и в нём указать, что орудие с боекомплектom остаётся здесь, у завала, до особого.

— Ты мне сейчас условия ставишь?

— Я прошу записать. Мне потом отвечать за пушку, которую я бросил на дороге.

— Ты будешь отвечать за неисполнение приказа старшего, — сказал он очень спокойно, и это спокойствие было хуже крика. — Я тебя под арест отправлю через пять минут, и поедет твой тягач всё равно, только уже без тебя. Тебе так больше нравится?

Я стоял и молчал, потому что понимал: он не блефует. Он мог. Капитан, не мой начальник, но старший, при исполнении, на дороге, где я ему мешаю, — мог.

И тут подошла Вера.

Она не козырнула, а просто встала рядом со мной, как становятся, когда уже решили встать.

— Лейтенант Самойлова, командир орудия, — сказала она. — Товарищ капитан, разрешите доложить по своей части.

— Ну.

— Если тягач сейчас уйдёт, оружие останется здесь. Резервная упряжка позади, но тяжёлый подъём с ней придётся брать отдельно, разгрузив передок. Вручную на руках по этой каше и в подъём мы его не выкатим и за три часа, а до темноты мне надо стоять на закрытой площадке за поворотом и работать по той точке, которая вас держит.

— Мне не нужно, чтобы вы работали. Мне нужно, чтобы вы не стояли поперёк.

— Мы и не будем стоять, — сказала она. — Мы подавим ему пулемёт, и ваша полуторка проедет своим ходом. Если вы заберёте тягач, вы получите машину, которая упрётся в те же сосны и будет вертеться перед ними, как все эти, — она кивнула на подводы, — а пушка останется в километре сзади, и ни ей, ни вам это не поможет.

Он смотрел на неё, и я видел, как в нём воюют две вещи: неготовность отступать перед сержантом с лейтенантом и то, что она сказала правду, которую он уже знал сам.

— Товарищ капитан, — сказал я. — Один вопрос, и я замолчу. Назовите машину, которая возьмёт оружие, если эта уйдёт с вами. Любую. Хоть в вашей колонне, хоть в соседней. Я схожу и попрошу сам.

Он обернулся и посмотрел вдоль дороги — на подводы, на полуторку с будкой, на лошадей, которых уже начали разворачивать, — и я видел, что он честно посмотрел, а не для вида.

— У меня нет, — сказал он.

— И у меня машины нет. Резервные кони пушку с дороги снимут, но вашего штаба и нашего боекомплекта на них не увезти.

— Это не делает меня неправым, сержант.

— Это не делает вас неправым, — согласился я. — Это делает так, что мы оба стоим.

— Осипов! — крикнул я, не оборачиваясь. — Связь есть?

— Даю, товарищ сержант! — отозвалось из кустов.

Он сидел там с аппаратом уже минут десять, и я его об этом не просил, — он просто увидел, куда идёт разговор, и связался с постом на придорожной линии: оттуда через коммутатор дали ротного.

— Куда даёшь? — спросил Орлов.

— Своему командиру роты, — сказал я. — Я обязан доложить, что получил приказ, который отменяет мою задачу. Пусть старшие между собой решают, а не я с вами на дороге.

Это была единственная законная дверь, и я в неё пошёл.

Я спустился к Осипову в кювет и взял трубку. Бортников отозвался через полминуты, и голос у него был, как всегда, такой, будто он только что закончил долгий разговор с кем-то ещё и уже устал.

— Гринёв.

— Фрол Игнатьич, докладываю. Колонна стоит перед завалом на девятом километре. Тут же капитан Орлов, требует передать тягач его штабу, отцепив орудие Самойловой. Я

отказал и докладываю.

Пауза.

— Дай его.

Я позвал Орлова к аппарату и передал ему трубку. Он взял её так, будто делал одолжение, и заговорил быстро, и по первым же его словам стало ясно, что он привык таким тоном добиваться.

Что ему ответили, я не разобрал; сквозь треск различил имя Лаврова и слова о задаче батареи. Орлов отступил на полшага от аппарата, насколько позволял шнур, и сказал:

— Десять минут? Товарищ старший лейтенант, у меня...

И потом, через паузу:

— Понял.

Он отдал трубку не мне, а Осипову, что тоже было своего рода ответом.

— Десять минут, — сказал он мне. — Ваш ротный берёт на себя и подтверждает приказ Лаврова. Через десять минут вы показываете мне, что тут вообще можно пройти, иначе я возвращаюсь к этому разговору, и уже не с вами.

— Согласен.

— Я не спрашивал согласия.

— Тогда, товарищ капитан, ещё одно. — Я сказал это раньше, чем он повернулся уйти. — Дайте мне вашего человека. Одного. Связного, кого хотите. Пусть он идёт с передней группой и видит своими глазами, что делается. Тогда через десять минут вы будете верить не мне.

Он остановился.

Я потом много раз думал, зачем сказал это, и решил, что не из хитрости, а из злости: мне надоело, что человек стоит и считает, будто я тут отлыниваю с чужой машиной.

Но вышло хитро.

— Крохин! — крикнул Орлов. — Ко мне.

Подбежал невысокий боец с сумкой через плечо и ещё не отдышавшийся.

— Пойдёшь с ними. Смотри и мне доложишь. Не геройствовать.

— Есть.

— Десять минут, сержант, — повторил Орлов и пошёл обратно к своим повозкам, и я видел, как он на ходу кому-то там что-то говорит, и как двое его людей начинают сгонять подводы к обочине.

Это тоже было кое-что: он начал разбирать свою же пробку.

— Вера, — сказал я. — Мне нужен твой человек при мне, чтобы принимал ориентиры. И нужно, чтобы ты была готова с промежуточной, не с той, что за поворотом.

— С промежуточной у меня будет один сектор и полтора метра земли под колёсами.

— Мне нужен один сектор.

Она кивнула и ушла к орудию, на ходу натягивая рукавицу зубами.

Я собрал своих у переднего катка тягача.

— Слушайте коротко. Завал растащим, но не сразу. Сначала надо знать, чем нас накроют. Юдин, Хвостов — берёте правее, по краю ельника, там просека боковая, я её видел с вырубки. Не лезть далеко: ваше дело дойти до первого поворота и посмотреть, есть ли туда вообще ход. Рябцев идёт с вами и идёт впереди вас, и что он говорит, то и делаете.

Рябцев, сидевший на корточках у гусеничного следа и ковырявший что-то прутиком, поднял голову.

— На мины смотреть? — спросил он.

— На всё смотреть. Немец уходил не торопясь, у него было время и на сосны, и на остальное.

— Тогда я первым, — сказал Рябцев и встал. — И чтоб в затылок мне не дышали. Шагов десять между мной и первым.

Боковая просека начиналась шагах в шестидесяти от завала и уходила вправо и вниз, старая, заросшая по краям молодым осинником, но с явной колеёй посередине — не заметённой, свежей.

Юдин присел у входа и потрогал колею рукавицей.

— Товарищ сержант. Тут проходили, и недавно. Колесо узкое, повозка.

— Наша или ихняя?

— По колее не скажу. Но снег в следу ещё не осел.

Он поднялся и сделал два шага вперёд — и остановился сам, прежде чем я успел его окликнуть.

Вот за это я его с ноября держу при себе.

— Что? — спросил я.

— Да ничего, — сказал он с досадой на самого себя. — Просто подумал: прошла повозка, значит, чисто. А она, может, потому и прошла, что за ней потом ставили.

— Рябцев.

— Слышу, слышу.

Сапёр прошёл мимо нас, встал на колею, посмотрел вдоль неё долго, будто прицеливался, и пошёл, как ходят они все, — очень медленно и очень некрасиво, полусогнувшись, шупом вперёд, ставя ногу туда, где уже стоял шуп.

Он прошёл шагов двадцать, потом опустился на колени.

Мы стояли и смотрели ему в спину. Крохин, орловский связной, встал рядом со мной и дышал открытым ртом.

— Долго он? — спросил Крохин.

— Сколько надо.

— Мне капитану докладывать...

— Вот это и доложишь: сапёр работает. Он у тебя человек грамотный, поймёт.

Рябцев долго работал лёжа у края колеи. Отделив опасное место вешками, он проверил узкую полосу слева и провёл по ней след. Через десять шагов пришлось остановиться снова; к нам он вернулся только своим следом.

— Две обнаружил, оставил на месте, — сказал он, вернувшись к нам и вытирая ладони о полы шинели. — Обе у самой колеи, справа. Ставил не дурак, но торопился: маскировал снегом, а снег с тех пор подтаял и опять стал. Видно.

— Значит, дальше можно? — спросил Юдин.

— Не значит.

Рябцев сел на корточки и нарисовал прутиком по снегу кривую линию.

— Вот колея. Он поставил здесь и здесь, с одной стороны. А дальше, где ему по уму надо было поставить третью, у него ничего нет. Метров на сорок пусто.

— Ну и хорошо.

— Ничего хорошего. Или у него кончились, или он туда не полез, потому что там и без него нехорошо, или он поставил такое, чего я с ходу не увижу. Я на пустое место не верю. Я верю, когда я сам проверил.

Глава 2



— Сколько тебе на эти сорок метров?

— Полчаса, если один. Двадцать минут, если мне никто не будет мешать и стоять над душой.

Я посмотрел на часы. Орловские десять минут уже истекли.

— Не годится, — сказал я. — Хорошо. Тогда так: просека дальше нам сегодня не нужна. Нам нужно знать одно — она

есть или её нет. Она есть. Стоп, дальше не идём, ставь знак.

— Правильно, — сказал Рябцев с явным облегчением, потому что боялся, видно, что я его погоню.

Он выломал две жердины, воткнул крест-накрест поперёк колеи и повесил на них обрывок бинта — белое на белом, но всякий, кто идёт по просеке, увидит именно неестественность.

И в этот момент из-за поворота, там, за его сорока непроверенными метрами, кто-то крикнул.

Крикнул хрипло и коротко, будто сорвал голос ещё раньше:

— Э-эй! Живые есть?!

Мы все присели.

— Не отвечать, — сказал я тихо.

Он крикнул ещё раз, и в третий, и по тому, как он кричал — с надрывом, без страха быть услышанным немцами, а со страхом, что его не услышат свои, — мне показалось, что там свой, отчаявшийся дожидаться помощи. Но голос ещё ничего не доказывал.

— Рябцев, проверь кромку слева, вдоль осинника. Юдин за тобой: посмотреть, кто кричит. По целине без проверки не шагать.

Они ушли. Когда Рябцев обозначил проход вдоль осинника, Юдин добрался до поворота и вернулся, красный и мокрый.

— Повозка, товарищ сержант. Связная, наша, с катушка-

ми. Лошадь убита, лежит в упряжи. Возница живой, сидит за колесом, нога, кажется, целая, но он оттуда встать боится: говорит, при нём тут двое подорвались.

— Сам он как туда попал?

— Говорит, ехал по просеке, ему сказали, что так ближе. Повозка прошла, а потом сзади рвануло.

Рябцев тихо выругался.

— Вот тебе и «прошла». Это она по своему следу прошла, а обратно они уже пошли по-другому.

— Крохин, — сказал я. — Ты хотел докладывать. Иди сейчас и доложи: на боковой просеке связная повозка, наши люди. Мы их выводим. Спроси у капитана, есть ли у него носильщики, но не жди ответа, возвращайся.

Крохин посмотрел на меня, потом на Рябцева, потом туда, откуда кричали.

— Я лучше тут останусь, — сказал он. — Я потом разом доложу.

— Как хочешь.

Выводить пошли двое: Хвостов и тот же Юдин, потому что Юдин уже прошёл за сапёром вдоль осинника, а Хвостов умел уговаривать людей, которые не хотят двигаться.

Я слышал, как Хвостов говорил ему оттуда — не шёпотом, а нормальным низким голосом, каким говорят с испуганной лошадыо:

— Ты сиди, сиди. Ты не шевелись пока. Я к тебе не по твоему следу иду, я по проверенному, слева. Видишь меня?

Ну вот и хорошо. Ты когда последний раз ел?

Возница что-то ответил.

— Ну вот и я говорю. Сейчас выйдем — и поедим.

Они вывели его, поддерживая с двух сторон, и он шёл сам, только очень медленно и всё время оглядывался на свою повозку.

Ему было лет сорок, борода в сосульках, шапка потеряна.

— Там имущество, — сказал он мне сразу, не здороваясь.

— Там четыре катушки и аппараты. Я без них не могу.

— Сколько всего?

— Четыре катушки, два мешка и ящик.

— Ящик оставим.

— Как — оставим?

— Так. Ящик тяжёлый, за ним надо идти второй раз, а второго раза у нас нет. Катушки и мешки вынесем.

Он смотрел на меня и мялся, и я видел, что он сейчас скажет: тогда я сам пойду, — и что говорит он это не из храбрости, а из того же страха, из-за которого люди подписывают ведомости, не читая.

— Тебя за ящик кто спросит? — сказал я. — Фамилию и часть скажи.

— Селифанов. Связь батальона Орлова.

— Селифанов, за ящик спрошу я, и отвечу тоже я. Запиши, кому: сержант Гринёв, вторая рота. Понял?

Он кивнул.

Мешки и катушки таскали Хвостов с Юдиным по прове-

ренному следу, по два конца, и на третьей ходке к ним, ни у кого не спросясь, пристроился Крохин.

Он взял мешок за один угол и понёс его вместе с Хвостовым, и по нему было видно, что мешок тяжелее, чем он рассчитывал, и что бросить теперь нельзя.

Когда всё лежало за укрытием, у комля большой ели, Крохин отдышался и сказал:

— Ну, теперь пойду доложу.

— Иди.

Он прошёл шагов пять, обернулся.

— Товарищ сержант. А вот эти катушки — они чьи?

— Ваши, — сказал я. — Соседи. Батальон Орлова, связь.

Он постоял ещё секунду и побежал.

Осипов в это время лежал в снегу шагах в тридцати, разложив на коленях свою сумку, и сращивал провод. Линия, идущая вдоль дороги, оборвалась где-то у завала — то ли сосной прихватило, то ли перебило осколком, — и он нашёл разрыв, зачистил концы ножом, скрутил и обмотал так же спокойно, как штопают носок.

— Есть, — сказал он, не поднимая головы. — Товарищ сержант, есть передовой наблюдатель.

— Говори.

— Через полковой коммутатор дал вашего артиллерийского наблюдателя. Говорит: пулемёт у них не на дороге. Пулемёт слева, в низине, на возвышении между двумя болотинами, там бугор с кустами. Оттуда вся полоса перед завалом

простреливается вдоль. Говорит: они специально сосны так положили, чтоб все, кто будет их растаскивать, вылезли на одну линию.

Я попросил его повторить и повторил вслух сам, чтобы не перевернуть. Потом позвал человека Веры — того, что она мне дала, — и мы вместе, с его биноклем, отползли на кромку и несколько минут, не отрываясь, смотрели на бугор.

Бугор был. Кусты были. Больше ничего видно не было, но это ничего и не значило.

— Она достанет? — спросил я.

— С промежуточной — достанет. — Артиллерист опустил бинокль. — Только ей туда выходить надо, а как она туда выйдет, ей самой станет видно и её самое станет видно.

— Значит, она сделает это тогда, когда он уже занят нами.

— Ага. То есть когда вы полезете на завал.

— Вот именно.

Я посмотрел на часы.

Десять минут прошли давно — прошло больше часа.

Но когда я возвращался к дороге, мне навстречу попался Крохин, уже без мешка, и он не сказал ничего, но кивнул мне на ходу, а у завала Орлов вместо разговора об аресте сказал коротко, не поворачиваясь:

— Мне доложили. Ладно. Что тебе нужно от меня?

— Уберите с прохода свои подводы ещё метров на сто назад, товарищ капитан. Когда мы возьмёмся за сосны, здесь будет неудобно.

Завал я обошёл пешком, вблизи, с правого края, где склон давал полметра мёртвого пространства.

Вблизи он был устроен умнее, чем казался.

Три сосны лежали не просто накрест. Нижняя, самая толстая, легла поперёк дороги и упёрлась комлем в склон, а вершиной ушла в канаву; на неё сверху навалили две другие, и сучья у всех трёх были не обрублены, а наоборот — подрублены и завёрнуты внутрь, так что получилась не куча брёвен, а плетень, в котором каждое движение одного дерева цепляет два остальных.

— Если тянуть верхнюю, — сказал Жаров, присев рядом со мной, — она пойдёт и потянет за собой среднюю, а средняя ляжет мне поперёк, и я потом буду её разбирать вручную, под ихним пулемётом.

— А если нижнюю?

— Нижнюю я с места не сдвину. Она в склон уперлась. У меня трос лопнет раньше.

— Тогда что?

Он помолчал, глядя.

— Тогда среднюю. Вот эту. Её надо взять не за комель, а вот тут, ближе к середине, и тянуть не назад, а вбок, под угол. Тогда она вывернется из-под верхней и ляжет вдоль, а не поперёк, и проход будет по правому краю. Узкий будет, но полуторка пройдёт.

— Тебе надо машину подводить туда?

— Надо. Но не к самому завалу. Метров за тридцать, вон

на тот бугорок, и там я развернусь боком. Тридцать метров — это разница между «он меня видит» и «он меня, может, и не видит».

Хвостов с топором уже ходил вдоль плетня и высматривал, за что цеплять.

— Командир! — позвал он вполголоса. — Тут сук в землю вошёл. Он как якорь. Пока его не снимем, хоть тресни.

— Снимешь?

— Снять — три удара. Только я эти три удара буду делать стоя.

Мы посмотрели друг на друга.

— Лягут два раза, — сказал он. — Первый раз он по мне промажет, потому что я быстро. Второй раз не промажет.

— Значит, второго раза не будет. Ты рубишь в тот момент, когда Самойлова начинает работать, и ни секундой раньше. До этого лежишь вон там, за комлем, и держишь топор в руках, а не ищешь его по карманам.

Жаров с Хвостовым заранее размотали трос и протянули свободный конец к комлю, за которым предстояло ждать. У машины оставили слабину на короткий выход к бугорку.

Порядок вышел такой.

Тимохин отогнал всех лишних с линии троса и встал так, чтобы видеть и трос, и Жарова в кабине, и людей за завалом. Свою работу он теперь знал: не тянуть, не толкать, а следить, чтобы под натянутым тросом не оказалось человека. Мы уже видели в ноябре, что делает лопнувший трос с тем, кто стоит

в его плоскости.

Юдин с двумя людьми ушёл влево, к канаве, — не стрелять, а смотреть за низиной, чтобы немец не вздумал послать оттуда пару с гранатами.

Вера со своим расчётом выкатила орудие на руках на промежуточное место: короткий бугор у самой кромки леса, с которого бугор с кустами был виден как на ладони — и с которого, разумеется, она была видна точно так же.

Я лежал за комлем рядом с Хвостовым и смотрел на часы, потому что мы условились не по сигналу — сигнал в таком деле запаздывает, — а по времени.

— Пошёл, — сказал я.

Жаров дал газ, и тягач полез на бугорок, разворачиваясь. Немец увидел его сразу.

Пулемёт заработал не лениво, как всё утро, а деловито, длинными, и первая же очередь прошла по мёрзлой каше перед машиной, вспахав её в двух шагах от переднего катка.

И в ту же секунду ударила Вера.

Сорокапятка бьёт резко и зло, без раската, и от первого её выстрела у меня, как всегда, дёрнулось в ушах. Первый лёг с недолётом, в склон бугра, подняв чёрное. Второй — через шесть или семь секунд, не больше, — лёг в кусты.

Пулемёт замолчал.

— Пошёл! — крикнул я Хвостову.

Он встал и пошёл к завалу шагом, а не бегом, — я запомнил это, потому что сам бы побежал, — подошёл, примерил-

ся и ударил. Раз. Два. На третий сук хрустнул и отвалился, и Хвостов, не оборачиваясь, уже цеплял петлю троса туда, куда показывал ему Жаров.

Пулемёт заработал снова.

Он сменил место — не сильно, но сменил: очередь пошла уже не оттуда, а левее, и ложилась она теперь не по машине, а по дороге, вдоль, ровно по той линии, которую он и берёт всё утро.

Хвостов упал за комель, и я не сразу понял, упал он сам или его.

— Живой?

— Живой! — отозвался он оттуда с яростью. — Зацепил! Тяни!

Тягач взял.

Трос вышел из провиса, зазвенел, — у натянутого троса есть свой отдельный звук, тонкий и нехороший, — и сосна пошла. Она пошла медленно, потом сразу быстро, вывернулась из-под верхней, как Жаров и говорил, и, ломая сучья, съехала вдоль дороги к канаве.

Верхняя за ней не последовала. Верхняя осела, качнулась и легла точно поперёк — то самое, чего мы боялись.

— Стоп! — заорал Жаров в окно и заглушил тягу.

Мы лежали и смотрели на неё, и я считал, сколько человек надо, чтобы её сдвинуть вручную, и получалось, что шесть, и что все шесть встанут ровно на простреливаемую линию.

Вера сделала ещё три выстрела. Последний, кажется, по-

пал: над кустами встало не чёрное, а серое с искрами, и пулемёт заткнулся и больше не начинал.

Тогда я поднял людей.

Мы сдвинули верхнюю сосну вшестером, за четыре приёма, качая и подталкивая её к канаве, и всё это время у меня между лопаток было ощущение, будто туда смотрят. Но никто не стрелял, кроме одиночных откуда-то издалека, из-за низины, и эти одиночные ложились высоко.

Проход получился шириной в полторы сажени, весь в суцях, с колеёй, заваленной хвоей.

— Прошибём, — сказал Жаров, вылезая. — Только сначала хвою убрать, а то у меня гусеницы будут по ней скользить, как по маслу.

И вот тут, пока мы разгребали эту хвою, я, разогнувшись, увидел, что в кузов тягача лезут люди.

Их было человек восемь. Незнакомые, в чистых шинелях, с вещмешками и с двумя телефонными ящиками, и один уже подавал наверх что-то тяжёлое, завёрнутое в плащ-палатку, а двое сидели на борту, свесив ноги внутрь.

— Слезай, — сказал я.

Они посмотрели на меня.

— Нам приказано, — сказал старший из них, с треугольниками. — Штаб батальона капитана Орлова. Мы с имуществом.

— Слезай, — повторил я. — Все восемь.

Подошёл Жаров, и на лице у него было такое выражение,

какое я потом видел только один раз — когда у него на переправе чужой водитель сел в его кабину.

— Слушай сюда, — сказал он спокойно. — Вот тут у меня сколько сейчас? Восемь человек по семьдесят — больше полутонны. Плюс ваше имущество. Я вам сегодня перед завалом десять ящиков вдвое делил, а вы мне их обратно посадили и ещё сверху положили.

— Нам приказано.

— Тебе приказано ехать, — сказал я. — А не сесть.

Я поднялся на подножку и оглядел дорогу впереди. За проходом она шла ровно метров триста, потом опять поворот. Триста метров открытого, и по ним только что стреляли вдоль.

— Вот что, — сказал я старшему. — Имущество ваше остаётся здесь, у прохода, я его никому не отдам и поставлю человека. Оно уедет следующей ходкой, договоримся с вашим капитаном, и я сам вам скажу, когда. А вы триста метров пройдёте ногами.

— По открытому?

— Не по открытому. Вон там, справа, вдоль склона, есть тропа в мёртвом пространстве, я по ней утром ходил. Идти цепочкой, интервал десять шагов, не кучей. Мои двое пойдут с вами: один впереди, один сзади. Если будут бить — ляжете, и вам скажут, когда встать.

Старший помялся.

— Нам бы быстрее.

— Быстрее — это когда все дошли, — сказал я.

И тут из-за их спин подал голос Крохин — он оказался тут же, с тёмной полосой на плече от мешка, который он помог вынести.

— Я пойду, — сказал он. — Я эту тропу видел. Он правду говорит, там не простреливается, я оттуда смотрел, когда мы имущество носили. Наше же имущество, между прочим. Вон оно лежит, четыре катушки.

Они посмотрели на катушки.

Что-то в них переменялось — не от моих слов и не от Жарова, а от того, что свой человек из их батальона стоял с перепачканным от переноски плечом и говорил, что тут вынесли их же добро.

— Ладно, — сказал старший. — Цепочкой так цепочкой.

Они пошли, и Крохин пошёл первым, и я дал им Дёмина в замыкающие — ему как раз годилась работа, где нужны глаза и голос, а не кисть.

Орлов стоял у своей полуторки метрах в семидесяти и смотрел, как его штаб идёт пешком по тропе вдоль склона, а по дороге в это же время тягач, ворча, протаскивал сорокапятку в узкий проход между сучьями.

Он не подошёл и ничего не сказал.

Он стоял, заложив руки за спину, и лицо у него было такое, будто он считает про себя — и ему не нравится то, что получается.

Пушку Вера ставила за поворотом, на той площадке, ко-

торуую наметила ещё вчера по карте: за гребнем, с прямой видимостью на выход из низины и на дорогу, уходящую к деревне.

Тягач подтащил орудие, расчёт отцепил, откатил на руках, и мы вдвоём с Тимохиным перетаскали из кузова то, что осталось: пять ящиков.

Остальные пять Жаров привёз второй ходкой, от пней, и Тихонов с молодым сдали их под расписку в блокнот, и молодой, помню, страшно гордился этой распиской и всё показывал её потом.

Заслон, который держал дорогу, стоял в километре, в бывшей путевой будке и в двух окопах рядом.

Вера работала по нему двадцать минут.

Я в это время был со своими выше по склону, и мне было видно, как от будки после третьего снаряда посыпалась черепица, а после пятого рухнула стена, и как побежали — не оттуда, а из окопа левее, вдоль канавы, пригибаясь.

Их было человек десять, и мы их не преследовали, потому что дорога была нужнее.

Когда всё кончилось, стало очень тихо, и в этой тишине по проходу пошла колонна: сначала подводы, потом полуторка с будкой, потом орловские люди, догнавшие своё имущество, потом ещё подводы, потом санитарная повозка, которая шла с самого утра и которую мы всё это время держали перед завалом.

Жаров уложил трос на кронштейн и полез в кабину —

отогнать тягач с дороги, чтобы не мешал.

Мотор завёлся.

И на втором или третьем обороте внутри что-то коротко и сухо ударило — один раз, будто кто-то щёлкнул кнутом в ведре.

Жаров заглушил мотор мгновенно. Не через секунду, не «дай послушаю», а сразу, и в кабине ещё звенело, когда он уже открывал дверцу.

— Тимоха! От капота назад! Всех от машины!

— Отойдите! — крикнул Тимохин и отвёл двоих, склонившихся над краем открытого кожуха.

Жаров открыл кожух.

Ремень лежал внутри двумя кусками.

Он был разорван не по шву — шов как раз держал, — а по краю, по той самой стороне, где мы утром с Тимохиным разглядывали светлую нитку, и разрыв был косой, длинный, с бахромой.

Никто не сказал ни слова.

Потом Тимохин произнёс:

— Он же нас довёз.

— Довёз, — сказал Жаров.

Он вытянул оба куска, отряхнул от пыли, сложил вместе, совместил разрыв — и долго держал их так, поворачивая к свету.

— Гринёв, иди сюда. Смотри.

Я подошёл.

— Видишь? Вот тут край сработан. И тут. И ровно так же он сработан был у первого, который я снял прошлой ночью. Одинаково, понимаешь? Не случайно.

— Значит, дело не в ремне.

— Дело не в ремне, — сказал он с большим удовлетворением, чем я ожидал. — Ремень — расходный. Дело в том, по чему он ходит. И я тебе теперь это докажу, потому что у меня есть два куска, а не один.

Он завернул оба обрывка в тряпицу и сунул в свой ящик с инструментом, как складывают в конверт документ.

— Я думал, ты расстроишься.

— Я расстроился, — сказал Жаров. — Мне теперь машину с дороги руками сталкивать. Но я третий раз резать за плату не буду. Хватит.

Под гусеницы подложили короткие брусья. Всем свободным расчётом, с рычагами и помощью обозных лошадей, стянули её в неглубокий карман у обочины, где стояла когда-то, видно, будка дорожного мастера — остался фундамент и три венца.

Я поставил туда часового — Тихонова, как самого спокойного, — и сказал, чтобы никого, ни своих, ни чужих, к машине не подпускал, а если придут с приказом, звал меня или Жарова.

Потом отыскал санитарную повозку.

Она уже прошла завал и стояла у поворота; фельдшер сидел на облучке, свесив ноги, и что-то записывал огрызком

карандаша на колене.

— Обратно как пойдёте? — спросил я.

— Как обычно. Заберём с рубежа тяжёлых и назад.

— Тяжёлых на чём повезёте?

Он посмотрел на меня, потом на стоящий тягач и всё понял.

— Нам обещали, что этот подхватит нас на обратном.

— Этот сегодня больше никуда не пойдёт.

Фельдшер перестал писать.

— Сержант, у меня на рубеже двое с животом. Их на подводе трясти — это всё равно что не везти.

— Знаю. Поэтому слушайте: до темноты через этот проход пойдёт назад пустой обоз, тот, что разгрузится у батареи. Я договорюсь, чтоб две подводы с сеном оставили для вас и шли шагом. Это хуже машины. Но это будет, а машины не будет, и я вам говорю об этом сейчас, а не через три часа, когда вы уже погрузите людей и станете ждать.

Он посидел, потом кивнул.

— Спасибо, что сейчас.

Я пошёл искать обозного старшину, и нашёл, и договорился — не без ругани, — и вернулся к тягачу уже в темноте.

Жаров сидел в кабине с фонарём и что-то писал в замусоленной тетради; Тимохин спал, привалившись к борту и завернувшись в трофейный брезент.

— Что пишешь?

— Что сегодня было, — сказал Жаров. — По часам. Во

сколько встали, во сколько пошли, сколько провезли, что порвалось. Мне это завтра пригодится.

— Кому ты собираешься это показывать?

Он поднял на меня глаза из-под фонаря.

— Тому, кто придёт забирать машину, — сказал он.

Пришли на следующий день, в полдень, и не за машиной, а за мной.

Посёлок, который взяли накануне вечером, назывался Дьяково и стоял на пересечении двух дорог: полтора десятка изб, кирпичный остов не то склада, не то бывшей кооперации, водокачка с пробитой крышей и, на дальнем конце, за огородами, длинный сарай с широкими воротами и железной трубой — ремонтный двор МТС.

Разбор Лавров назначил в избе у перекрёстка, где уже сидели связисты и где на столе, сдвинув посуду, разложили карту.

Я пришёл не один.

Со мной пришли Жаров — в своей неизменной ватной куртке, всё ещё лагерного вида, с ящиком инструмента, который он не оставлял нигде, — и Вера, и фельдшер Каретников с санитарной повозки, которого я поймал утром и полчаса уговаривал.

— Мне-то зачем? — говорил он. — Я не начальство.

— Затем, что вчера вы остались без машины и вам сказали об этом честно. Больше про это никто рассказать не сможет.

Орлов был уже там. Он стоял у печки, грея руки за спи-

ной, и, когда мы вошли, оглядел мою компанию с интересом.

— Ну, — сказал Лавров, не поднимая головы от бумаг. — Начнём. Товарищ капитан, вы просили.

Глава 3



— Просил. — Орлов отошёл от печки. — Тягач немецкий, взят на складе при участии подразделений, обеспечивавших участок. Участок обеспечивал мой батальон. Вчера машина работала на общем проходе, которым пользовались все, и в первую очередь я. Прошу закрепить её за нами, поскольку у нас единственная в полосе ремонтная база и штатный водитель.

Он сказал это ровно и коротко, и в этом было своё достоинство: он не стал врать про подвиги и не стал жаловаться на меня.

— Гринёв.

Я встал.

— Товарищ майор, машину я не считаю своей и не прошу закрепить за собой. Я прошу другого: закрепить не за частью, а за делом. И прежде чем решать, прошу спросить троих, кому она вчера служила. Они здесь.

— Спрашивай, — сказал Лавров и откинулся на лавке.

Первой говорила Вера.

— Оружие с боекомплектom доставлено на огневую площадку за поворотом в пятнадцать сорок, — сказала она. — Быстрее доставить оружие я ничем не могла. Резервные лошади шли, но на подъёме с ними потеряли бы ещё время. Доставили с двумя остановками по требованию механика и с половиной боекомплекта на руках пехоты. В шестнадцать ноль пять заслон подавлен, дорога открыта для колонны. Без этой машины я бы стояла перед завалом и сейчас.

— Половина первого груза на руках пехоты, — повторил Лавров. — Чьей?

— Моей, — сказал я. — И ещё людей из хозвзвода.

Вторым — Каретников, и говорил он неохотно и очень по-своему:

— Мне вчера обещали машину под обратный рейс, и машины не стало. Мне об этом сказали вовремя, и я успел взять

две подводы с сеном. Двоих довели живыми. Если бы мне сказали в темноте, когда я уже погрузился, я бы их не довёз.

— Это в пользу машины или против? — спросил Орлов.

— Это в пользу того, чтоб мне говорили заранее, — сказал фельдшер и сел.

Жаров говорил последним и говорил дольше всех, потому что достал тетрадь.

— Я вам сейчас не буду доказывать, что машина хорошая, — начал он. — Машина плохая. Она трофейная, с чужого склада, к ней нет ничего. Вот тетрадь, тут по часам всё, что она делала с первого рейса. Вот обрывки двух ремней: первый порвался перед маршем, второй — вчера. Сравните края.

Он положил обрывки на карту, прямо поверх карты, и Лавров, вместо того чтобы согнать, наклонился и посмотрел.

— Одинаково рваные, — сказал майор.

— Одинаково. Значит, режет их не работа, а что-то в самой машине. Скорее всего, шкив бит. Пока его не заменить, любой ремень, какой вы мне дадите, я сожру за три дня.

— То есть машина небоеспособна, — быстро сказал Орлов.

— То есть машина стоит, — сказал Жаров. — И будет стоять, пока не выточат деталь. И я вам всем это говорю сейчас, а не когда вы посадите в неё людей.

Орлов повернулся к Лаврову.

— Тем более. У нас есть мастерская в тылу полка, и мы

её отремонтируем.

— У вас есть мастерская, — сказал Лавров. — Далеко?

— Двенадцать километров.

— А тащить её туда на чём?

Орлов не ответил сразу, и в этой паузе я увидел свою минуту.

— Товарищ майор, — сказал я, — разрешите не про то, чья она, а про то, как ею пользоваться.

— Говори.

— Вчера получилось так, что машина в один день работала на артиллерию, на пехоту, на связь и на санитарную часть. Пчёлкин уже установил ей часы работы и первым поставил медицинский рейс. Внутри своей части это действует. А соседние службы всё равно приходят по отдельности, и каждый считает, что он первый. Значит, надо закрепить общий порядок для всех, чтобы наш график признавали и за пределами батальона.

— Какую очередь?

Я выложил на стол свой листок — к графику Пчёлкина мы с Ершовым добавили учёт выполненных рейсов и с тех пор пополняли его карандашом: день, час, кто заказал, что везли, сколько вышло.

— Вот это мы ведём с первого рейса. Девятнадцать заявок: восемнадцать выполнены, одна отменена. Из них на раненых — шесть, на боеприпасы — семь, на связь — два, на штабное имущество — три. Один рейс не состоялся.

— Почему не состоялся? — спросил Лавров.

— Потому что я его запретил, — сказал Жаров. — Масло падало.

Лавров взял листок и долго смотрел, водя пальцем по строчкам. Потом положил и накрыл ладонью.

— Вот что, — сказал он. — Порядок будет такой. Машина закрепляется за транспортной группой при батальоне, старший — Жаров, при нём Тимохин. Заявки подаются в эту группу от всех служб и исполняются по очереди: первым делом раненые, вторым боеприпасы, третьим связь, четвёртым штабное имущество и всё прочее. Если два заказа одинаковой очереди — исполняет тот, кто раньше подал.

— А если начальство приказало? — спросил Орлов.

— Начальство подаёт заявку, как все, — сказал Лавров. — И если начальству нужно вне очереди, оно идёт ко мне и объясняет мне, почему.

Орлов усмехнулся, но не весело.

— Дальше, — сказал майор. — Механик имеет право отказать в рейсе по состоянию машины. Не после того, как погрузились, а до. Отказ записывает в свою тетрадь с указанием причины, и тетрадь эта — документ. Жаров, ты меня понял?

— Понял, — сказал Жаров. — А если на меня надавят?

— Тогда назовёшь фамилию того, кто давил, и я с ним поговорю. — Лавров посмотрел на Орлова и ничего ему не сказал, но смотрел достаточно долго. — Кто ведёт очередь?

— Ершов, товарищ майор, — сказал я. — Он уже ведёт.

— Пусть ведёт. Отвечает за график — Гринёв, за машину

— Жаров, за то, чтоб это не превратилось в базар, — я.

Он взял карандаш и стал писать.

Орлов дождался, пока он допишет, и сказал:

— Товарищ майор, у меня заявка. Штабное имущество, шесть мест, от девятого километра в Дьяково. Прошу записать.

— Записывай, Гринёв.

Я взял карандаш, положил листок на край стола и записал: капитан Орлов, штабное имущество, шесть мест, четвёртая очередь.

— И указать, — добавил Орлов, — что исполнение зависит от ремонта.

— Указано.

Он взял со стола свою шапку.

— Я подпишу, — сказал он. — Только вы, сержант, не воображайте, что вы вчера кого-то победили.

— Я не воображаю, товарищ капитан.

— Воображаете. У вас на лице написано. — Он надел шапку. — Вчера вы оказались правы, и я это признал, и в бумаге распишусь. Но правы вы были не потому, что умный, а потому, что вам повезло с артиллеристом. В другой раз не повезёт, и тогда я вам этот график напомним.

— Напомните, — сказал я. — Он для того и есть.

Он вышел, и в избе стало просторнее.

— Гринёв, — сказал Лавров, не поднимая головы. — Он тебя запомнил.

— Я понял.

— Ты понял половину. Он тебя запомнил не как помеху, а как человека, который сумел сделать по-своему и не получил за это по шапке. Такие вещи люди вроде него помнят долго и по-разному. — Майор подул на чернила. — Впрочем, сегодня ты был прав, и хватит об этом. Теперь про мастерскую. Во дворе МТС есть сарай. Машину перетащим туда на буксире после прохода обоза. Жаров осмотрит всё под крышей; если найдёте местного мастера, приведёте ко мне.

Из избы мы вышли втроём: я, Жаров и Вера.

— У тебя лицо, — сказала мне Вера, — как у человека, который выиграл двадцать рублей и потерял тридцать.

— У меня машина стоит.

— У тебя правило есть. Машина — железо, а правило переживёт и эту машину, и следующую.

— Ты всерьёз?

— Я всерьёз, — сказала она. — Я в октябре видела, как батарею поставили в оборону без тяги, потому что тягач забрали возить начальство. Все были правы, и каждый по-своему. — Она сунула руки в рукава. — Мне к оружию. Ты вечером где?

— Во дворе МТС, наверное.

— Значит, приду ругаться про снаряды.

Во дворе МТС в это время уже шла своя жизнь.

Ершов принёс и повесил на гвоздь у ворот наш разграфлённый лист, подписав сверху чернильным карандашом: «Заявки». Через два часа на нём было четыре записи, и одна — от хозяйственной части, которая прежде и не думала ничего просить, а просто ловила машину на дороге.

Тимохин надел на плечи ватник и стоял у ворот часовым, очень серьёзный, и не пустил внутрь двух каких-то ездовых, а когда те начали спорить, сказал им фразу, которую явно приготовил заранее:

— На гвозде запишитесь. Механик посмотрит.

Я слушал это из-за угла и, честно говоря, радовался куда больше, чем утром на разборе.

Хозяин ремонтного двора объявился сам.

Он пришёл часа в три, когда мы уже вкатили тягач под навес, — невысокий, широкий в кости старик в брезентовом фартуке поверх полушубка, с руками, каких не бывает у крестьян: пальцы толстые, но чистые, и ногти подстрижены коротко, до мяса.

— Круглов Семён Петрович, — сказал он. — Я тут токарь. Был.

— Почему был?

— Потому что «есть» — это когда станок вертится.

Он обошёл тягач кругом, не прикасаясь, и остановился у открытого кожуха.

— Порвали.

— Порвали, — сказал Жаров.

— А чего резину чужую ставили?

— Своей не дали.

Круглов хмыкнул и наклонился ближе, и они с Жаровым минут десять говорили так, что я не понимал половины: обод, реборда, биение, посадка, торцевое. Я в это не лез. Я стоял в стороне и смотрел на Тимохина, а Тимохин смотрел на них.

Потом Круглов выпрямился, вытер руки о фартук, хотя не испачкал их, и сказал:

— Ты мне его проверни. Медленно.

Жаров провернул.

Старик смотрел не на шкив, а вбок, приложив глаз почти к самому краю, как смотрят вдоль доски, проверяя, не повело ли.

— Ну вот, — сказал он. — Видишь, гуляет? Он у тебя бит. Кто-то его уронил или ломом поддел, и обод повело. Он теперь ремень на край тянет, а край — самое слабое место, что у хорошего ремня, что у твоего сшивного.

— Я то же самое говорил, — сказал Жаров.

— Ты говорил на ощупь, а я тебе показал.

Он сказал это без всякого превосходства, но Жаров, который два дня подряд отбивался от всех, кто хотел ему посоветовать, вдруг замолчал и кивнул.

Я потом много думал об этой минуте.

Жаров у нас был человек, привыкший, что он один умеет. В плену он этим умением жил, а после освобождения оно

стало для него ещё и правом на место среди нас. И я видел, как ему трудно с ним расставаться: он и молоток-то никому не давал без объяснения, как держать.

А тут пришёл старик в фартуке и за десять минут сказал то, чего Жаров не мог доказать, — и Жаров не стал спорить.

Тимохин это тоже увидел. Он стоял с открытым ртом.

— Выточить можешь? — спросил Жаров.

— Шкив? Могу. — Круглов пожевал губами. — Чугун лить негде, значит, из стали выточу. Тяжелее будет, ну да тебе не на самолёт.

— Заготовка есть?

— Заготовка есть. Вон, у стены под мешковиной, я её с тридцать девятого года берегу, мне из неё шестерню обещали заказать.

— А ремень?

— А ремень я тебе не выточу, — сказал старик. — Ремень — это не моё дело. Ремень ищи по складам, у железнодорожников, у мельников, где хочешь. Мне нужно только знать ширину, чтоб я под неё ручей проточил.

Жаров засмеялся — первый раз за двое суток.

— Семён Петрович, — сказал он, — если ты мне это сделаешь, я тебе хоть в ноги.

— В ноги не надо, — сказал Круглов. — Пойдём, покажу тебе кое-что, а ты потом решай, кому кланяться.

Он повёл нас в дальний конец сарая, за перегородку, и поднял с гвоздя фонарь.

Там стоял станок.

Я в станках не понимаю ничего, но даже я увидел, что это хорошая вещь и что за ней ходили: суппорт был протёрт до блеска, на полке лежали резцы в деревянной колодке, каждый в своём гнезде, и над верстаком висела дощечка с обведёнными по контуру ключами — чтобы сразу видеть, какого нет.

А сбоку, на бетонной тумбе, были железные салазки с четырьмя болтами.

Пустые.

— Вот, — сказал Круглов и посветил туда. — Здесь стоял мотор.

Он сказал это ровно, но фонарь у него в руке немного дрожал, и он переложил его в другую.

— Немцы сняли?

— Немцы. В декабре ещё, в первых числах. Приехали двое на машине, с ними наш один, из соседней деревни, переводил. Походили, посмотрели. Тот, что постарше, сам крепления щупал — вот эти, видите, гайки на четырнадцать, — и сказал: этот возьмём, этот хороший. И взяли.

— А вы?

— А я стоял, — сказал Круглов. — Мне шестьдесят третий год. Я стоял и запоминал.

Он поставил фонарь на верстак.

— Они его не сразу увезли. Они его снесли на станцию и положили под навес у пакгауза, я туда ходил, я видел. Там

у них весь месяц лежало снятое: моторы с двух МТС, с маслозавода динамо, ещё что-то. Потом стали грузить.

— Куда грузить?

— В эшелон. Тут у них ремонтный поезд стоит на разъезде, за Сухим Логом. Вагоны крытые, две платформы, мастерская на колёсах — я её видел, у неё труба из крыши, как у бани. Они туда всё и таскали.

Я почувствовал, как у меня сзади под лопатками пошёл холодок, и это был не страх.

— Семён Петрович, — сказал я очень осторожно, чтобы не спугнуть, — а откуда вы знаете, что он в эшелоне сейчас?

Круглов помолчал.

— Потому что я третьего дня был на разъезде, — сказал он. — Меня туда возили. Они по деревням брали, кто с руками, — разгружать и грузить. Я два дня у них таскал, а вчера утром меня отпустили, потому что наши уже стреляли близко и им стало не до нас. Я шёл оттуда пешком, восемь километров.

Жаров медленно сел на верстак.

— И мотор ты там видел?

— Я его грузил, — сказал Круглов. — Своими руками. На платформу, вторую от паровоза, под брезент. Я его по краске узнал и по тому, что у него лапа заварена — я её сам заваривал в тридцать восьмом, криво заварил, стыдно было.

Он взял с полки резец, посмотрел на него и положил обратно.

— Так что выточить я вам могу, — сказал он. — А вертеть нечем.

Мы стояли в сарае, где было всё — инструмент, заготовка, мастер, резцы в гнёздах, — и не было одной вещи, без которой всё остальное было мёртвым железом.

— Эшелон когда уходит? — спросил я.

— Не знаю. — Круглов пожал плечами. — Когда я уходил, он стоял. Они там пути чинили, потому что на перегоне мост подорван, и пока не починят — не уйдут. А починить им дня два-три.

— Значит, два-три дня он ещё там.

— Может, и так. Может, и не так. Я вам за них не распи-сываюсь.

Я взял его за рукав.

— Семён Петрович. Вы мне сейчас это можете повторить при другом человеке? Не мне. Человеку, который в этом понимает.

Старик посмотрел на меня.

— Ты чего задумал, сынок?

— Я пока ничего не задумал, — сказал я. — Я хочу, чтобы то, что вы видели, узнали те, кому положено. А дальше решать не мне.

Баранова, старшего разведгруппы, я нашёл к вечеру, в третьей избе от перекрёстка, и он сначала слушал вполуха, стоя спиной, и разбирал свой планшет.

Потом повернулся.

— Погоди. Он сам грузил?

— Сам. Второго дня.

— Платформа вторая от паровоза?

— Он так говорит. Под брезентом.

— Мост подорван на перегоне?

— Говорит, чинят.

Баранов сел.

— Гринёв, — сказал он, — ты понимаешь, что ты мне сейчас принёс? Мне вторую неделю обещают узнать, что у них на этом разъезде. У меня туда парень ходил и вернулся ни с чем, потому что он в вагонах не разбирается, ему всё крытое одинаковое.

— А мне нужен от него мотор, — сказал я. — Один. Который к станку.

— Один мотор, — повторил Баранов и посмотрел на меня как-то новым взглядом. — Ты хоть понимаешь, как это звучит?

— Понимаю. Поэтому и говорю сразу: я не прошу трогать эшелон. Я прошу узнать, можно ли взять с него одну вещь.

— Вот за это, — сказал он, — тебя когда-нибудь или наградят, или посадят. Веди своего старика, я с ним поговорю сам.

Круглова я привёл, и они сидели до темноты, и старик рисовал огрызком карандаша на обороте какой-то ведомости: вот пакгауз, вот насыпь, вот будка, вот тут они ставят часового, а вот тут не ставят, потому что там навалено шпал и

не пройти.

Во двор МТС я вернулся по темноте. Пока мы были у Баранова, туда приезжал обозник с почтой.

Он оставил три письма на всё отделение и одно на меня. Тимохин передал мне конверт, и я сразу узнал почерк: мелкий, прямой, с сильным нажимом на концах слов, будто человек каждое слово ставит на место и прижимает.

Я отошёл за угол сарая и там, у стенки, где не дуло, распечатал.

Александра писала коротко, потому что писала между делом: у них третий день идут обмороженные, и она сердится на это больше, чем на раненых, потому что раненых им привозит война, а обмороженных — чужая дурость и мокрые портянки. Спрашивала, сухие ли у меня ноги. Писала, что видела в госпитале нашего Селиванова, что рука у него срослась и что он всем рассказывает про Взгорье, привирая на треть.

И в конце, отдельной строчкой, без всякого перехода:

«У меня цел твой гребень. Я им причёсываюсь каждый день и каждый день считаю зубья, и всё думаю, как ты ухитрился выпилить шестнадцатый таким тонким. Он до сих пор не сломался».

Я стоял у стены сарая, где пахло машинным маслом и мёрзлым деревом, и, кажется, улыбался как дурак, потому что мимо прошёл Тимохин и на всякий случай сделал вид, что меня не заметил.

Вера пришла, как и обещала, ругаться про снаряды.

Она села на перевёрнутый ящик у ворот, вытянула ноги и сказала, что если завтра к обеду ей не подвезут новую партию со станции, она лично впряжётся в тягач.

— Наши пять от пней уже довели, — сказал я. — Новая партия стоит у станции.

— Так я про новую и говорю. Подвоз опять застрял, а мне завтра стрелять.

— Завтра привезём. Подводами.

— Подводами, — фыркнула она. — Знаешь, Гринёв, я сегодня на разборе смотрела на этого Орлова и думала: ведь он же не сволочь. Он просто человек, которому дали батальон и не дали ни одной машины.

— Я знаю.

— И самое смешное, что он от твоего графика выиграет больше нас. Мы-то сами таскаем, а ему таскать нечем.

Она помолчала.

— Ты на курсы пойдёшь?

Я повернулся к ней.

— На какие курсы?

— Ой, — сказала она. — Значит, тебе ещё не сказали. Тогда я ничего не говорила.

Сказали мне через час.

Лавров пришёл сам, во двор, что было не в его обычае, и остановился у ворот, глядя на лист с заявками на гвозде.

— Прижилось, — сказал он.

— Прижилось, товарищ майор.

— Хорошо. — Он снял варежку и полез за пазуху. — Гринёв, разговор короткий. Есть разнарядка: два человека от полка на курсы младших лейтенантов. Ускоренные. Я тебя вписал.

Он достал сложенный вдвое лист и подал мне.

Я развернул.

Бумага была обыкновенная, серая, с фиолетовым штампом и от руки вписанной фамилией, и внизу стояло число, а рядом с числом — час, когда за отъезжающими придёт машина.

До отправления оставались завтрашний день и ночь. На эшелон столько времени нам никто не обещал.

— Товарищ майор, — сказал я. — Тут срок.

— Тут срок, — согласился Лавров. — Машина придёт послезавтра утром. Опоздавших ждать не будут, у них там свой график, не хуже твоего.

Я стоял с бумагой в руках, и мне было её и приятно держать, и неудобно, как чужую.

— Разрешите доложить, — сказал я. — Час назад мы с Барановым и с местным токарем разбирали сведения о немецком ремонтном эшелоне на разъезде за Сухим Логом. Там мотор от вот этого станка. Без мотора мастерская мёртвая, а без мастерской у нас стоит тягач и стоит ещё неизвестно что, потому что токарь тут один на весь район.

Лавров молчал.

— И этот эшелон, — сказал я, — уйдёт, когда они почи-
нут мост. Может, раньше моей машины. Баранов проверяет;
откладывать до моего отъезда нельзя.

— Понял, — сказал Лавров.

Он посмотрел на пустые салазки — их было видно от во-
рот, потому что Круглов так и не погасил там фонарь, — по-
том на тягач под навесом, потом на меня.

— Гринёв, — сказал он. — Ты сейчас будешь просить ме-
ня отменить одно из двух. Не проси. Я не буду отменять ни
того, ни другого, потому что и то и другое нужно, и оба сро-
ка не мои.

— Я и не собирался просить, товарищ майор.

— Собирался, — сказал он. — Но правильно, что не стал.
Он надел варежку.

— Про эшелон я сегодня же доложу и Баранова поддержу.
Разрешат или нет — не от меня. А бумагу свою убери во
внутренний карман и не потеряй, их не выписывают дважды.

Он ушёл, а я остался стоять у ворот с этим листком.

В сарае гудел ветер в трубе. Под навесом стоял тягач с
открытым кожухом, у станка за перегородкой светил фонарь
над пустыми салазками, а за огородами, в темноте, в восьми
километрах отсюда, стоял на разъезде чужой поезд с трубой,
как у бани, и в нём под брезентом лежала железная штука с
криво заваренной лапой.

Я сложил направление вчетверо и убрал во внутренний
карман, к письму.

Потом позвал Тимохина:

— Найди Юдина. Скажи, чтоб пришёл сюда. И пусть захватит списки — те, что у него в планшете, по отделению, с обувью и с патронами.

— Сейчас?

— Сейчас.

Юдин пришёл через десять минут, запыхавшийся, с планшетом под мышкой, и посмотрел на меня настороженно, как смотрят на командира, который зачем-то вызвал ночью.

— Садись, — сказал я и подвинул ему второй ящик. — Разбираем по порядку: кто у нас завтра в наряде, у кого что из имущества, кому что должны и кто чего не умеет.

— А зачем сейчас, товарищ сержант? — спросил он. — Мы ж это в воскресенье делали.

Я освободил перед Юдиным место на крышке ящика и отодвинул свои бумаги.

— Затем, что в воскресенье делали мы с тобой, — сказал я. — А теперь делаешь ты, а я слушаю.

Глава 4



Пустые салазки под станком были обидно чистые. Там, где полгода стоял мотор, чугун не ржавел, и на тёмном от масла полу остался светлый прямоугольник с четырьмя дырами по углам, и в дырах торчали обломанные болты.

— Вот и весь разговор, — сказал Круглов. — Станок есть, резец есть, я есть. Крутить нечем.

Лавров вернулся в мастерскую незадолго до полуночи. Я

вынул выданное им направление, и он сверил фамилию и срок.

— Гринёв, — сказал он. — Сборный пункт — Кубинка. Машина за сержантами придёт послезавтра в восемь утра. Сутки с небольшим у тебя есть, и я тебе их не подарю, а сдам под расписку: за сутки ты мне должен вернуть тягач в строй и передать отделение так, чтобы я потом не бегал искать, кто у них старший.

— А эшелон?

— А эшелон уйдёт утром. — Он посмотрел на Круглова. — Семён Петрович говорит, ночью ещё стоит.

— Стоит, — сказал Круглов. — Мне бабы с водокачки сказали, они там кипяток немцам таскают. На третьем пути, ремонтный. Платформа с барахлом, два крытых, паровоз под парами держат, но сцепки не тянуты.

Лавров вернул мне лист. Я ещё раз прочитал строку с датой и убрал направление за пазуху.

— Товарищ майор, разрешите работать по порядку. Сначала мотор, потом отделение, потом курсы.

— По порядку — это как?

— Мотор — сегодня ночью и только мотор. Не эшелон, не эффектный налёт на станцию. Один предмет, известный, с известным весом.

Лавров дождался, пока я застегну карман.

— Баранов пойдёт старшим. Он уже был у начальства, ему разрешили ограниченный выход с отходом до четырёх ноль-

ноль. Слушай его и не бегай впереди. — Он помолчал. — И вот что, Гринёв. Если ты там хоть одного человека положишь ради железа, я тебе это железо в личное дело вложу.

Он ушёл. Круглов вытер руки о фартук, поверх которого была надета телогрейка, и сказал:

— Пойдём, покажу, чего вы там искать будете. А то принесёте мне чужую железяку.

Мотор он показал на соседнем, разбитом станке — такой же, говорил он, «в аккурат брат». Чугунная станина, лапы с четырьмя отверстиями, клеммная коробка сбоку, вал с насаженным шкивом.

— Вес? — спросил Жаров.

— Пудов семь. Может, семь с четвертью.

Жаров обошёл станок кругом и потрогал станину сверху, потом сбоку, потом присел и посмотрел снизу.

— Семён Петрович. Вот тут, за станину, поднимать можно?

— За станину можно. За коробку нельзя, оторвёшь. За вал не вздумай, погнёте — и всё, привозите обратно, я его вам не выправлю. — Он показал пальцем в потолок, на балку с крюком, под которой у него стоял станок. — У меня вот она, балка. Я его сюда на таль подниму. А у вас там балки не будет, у вас будут руки и верёвка. Значит, вязать надо так, чтоб он в верёвке сидел, как в люльке.

— А клеммы?

— Клеммы мне нужны. Если оторвут провода под корень,

я их вытяну, но там ещё крышка, и если крышку потеряете, зимой в неё натечёт. — Круглов посмотрел на меня. — Слышишь, сержант? Крышка маленькая, а без неё мотор — не мотор.

— Крышка, — повторил я и загнул палец. — Запомнил.

— И болты с шайбами, какие на лапах остались. Мои-то вон, обломаны. Если у ихнего лапы целые с болтами — снимайте вместе.

— Ещё что?

Круглов задумался и назвал ещё три вещи: шкив с вала снимать не надо, пусть едет как есть; если рядом лежит пусковое сопротивление в ящике — брать, это к мотору; а вот трансмиссионные ремни не брать ни в коем случае, потому что своих у него хватает, а чужие будут лишний вес.

Вот это меня и успокоило. Мы не собирались грабить эшелон. Мы собирались взять одну вещь и четыре мелочи к ней, и я мог всё это перечислить вслух и потребовать повторить.

Тимохин попробовал вязать. Он взял конец верёвки и завёл его вокруг станины разбитого мотора так, как ему показалось правильным, — с одного захода, петлёй под самый низ.

Круглов посмотрел и снял верёвку с мотора.

— Переделай.

— А чего?

— Того. Ты его сейчас поднимаешь, он крутанётся и сядет тебе на руку. Заводи с двух сторон и выше середины. — Ма-

стер показал руками. — Груз висит спокойно, когда верёвка выше его пуза. А ты ему под брюхо подлез.

Тимохин переделал. Со второго раза Круглов кивнул, а с третьего сам взялся за петлю и дёрнул вниз, проверяя.

— Вот. Теперь он у тебя не поедет.

— Тимохин, — сказал я, указывая на разобранный мотор. — Кто снимает?

— Мы с Николаем Степановичем.

— А ты что делаешь, когда его сняли?

— Принимаю на тележку.

— Куда именно принимаешь?

Он замялся. И тут выяснилось то, ради чего я и спрашивал: он знал слова «на тележку», но не знал, что тележка стоит на рельсах, а уходить нам придётся не по рельсам.

— Значит, так, — сказал я. — Тележку мы катим по путям до стрелки, а дальше рельсы поворачивают не туда, куда нам надо. Там мы мотор с тележки снимаем и несём на руках — сколько?

— Сколько-то, — сказал Тимохин.

— Шагов двести. По насыпи вниз, потом по канаве. Четверо несут, двое меняют. Ты сейчас представь эти двести шагов, и если у тебя там есть непонятное место — скажи сейчас, а не когда мы будем стоять с семью пудами на весу.

Тимохин честно представил. Я видел, как он представляет: у него зашевелились губы.

— Спуск с насыпи, — сказал он. — Там наледь. Мы его

на спуске уроним.

— Правильно. Хвостов!

Хвостов оторвался от своего дела — он подгонял древко к какой-то железке — и посмотрел.

— На спуске делаешь ступени. Заранее, до всего. Лопату возьмёшь у Круглова.

— Сделаю, — отозвался Хвостов.

Круглов указал за горн:

— Лопата там. Только верни. Черенок сам сушил.

К Баранову мы вышли в половине первого. Он ждал у крайней избы с разведчиком — маленьким, в маскхалате поверх ватника, с мокрым от снега лицом.

— Стоит, — сказал разведчик, не здороваясь, и показал в сторону путей. — Только состав сдвинулся. Платформа теперь не против водокачки, а дальше, против пакгауза, шагов на сорок.

— Караул? — спросил Баранов.

— Парный. Ходят от паровоза до третьего вагона и обратно. Между вторым крытым и платформой промежуток, там они не ходят, там кучи щебня и не видно ничего.

— Провод?

— Есть провод. От будки к первому вагону. По земле лежит, присыпан.

Осипов, который до этого молчал, сказал:

— Один?

— Один я видел.

— Значит, буду резать тот, который вижу. — Осипов посмотрел на меня. — Андрей Кузьмич, только я вам сразу скажу: я им связь не отключу. Я перережу одну линию, которую мы нашли. У них может быть ещё и рация в вагоне, и посыльный на ногах.

— Понял. Мне и не надо отключать. Мне надо, чтобы будка не позвонила первой.

Баранов разложил на колене клочок бумаги и провёл ногтем.

— Тогда так. Заходим за складской насыпью, там нас не видно ни от будки, ни от паровоза. Отход — обратно тем же местом, сбор у сожжённой цистерны, время — четыре ноль-ноль, и это не пожелание. В четыре я снимаюсь с теми, кто есть.

— С теми, кто есть? — переспросил Тимохин.

— С теми, кто есть, — спокойно повторил Баранов. — Поэтому ты будь среди тех, кто есть.

Он поднял глаза на Юдина.

— Ты держишь промежуток между вторым крытым и платформой. Не догоняешь, не преследуешь, не гонишься за тем, кто от тебя побежал. Если побежал — значит, он уже кому-то кричит, и твоё дело не он, а проход. Понял?

— Понял, — сказал Юдин.

Я посмотрел на него сбоку. Он за эти месяцы вытянулся и осунулся, и голос у него стал ниже, и то, что раньше он говорил с придыханием, теперь говорил ровно. Но ответил

он не «есть», а «понял» — и я знал, что это значит: он ответ обдумал.

Снег шёл редкий и косой, с ветром вдоль путей, и это было хорошо, потому что вдоль путей сносило и наши следы, и наш звук.

За складской насыпью мы пролежали минут двадцать. Оттуда были видны платформа и её груз: тёмная куча под брезентом, из-под которой торчали углы, и на самом краю, под самым бортом, — мотор. Его нельзя было спутать: круглый, приземистый, с торчащим валом, и он стоял отдельно от всего, снятый и приготовленный к погрузке в крытый.

— Они его сами сняли, — шепнул Жаров мне в ухо. — Он уже на подушках стоит, на шпальных обрезках. Нам его только с борта спустить.

— Хвостов, ступени?

— Готовы. Четыре штуки, и внизу я насыпал.

Караульные прошли к паровозу и обратно. Я сосчитал: от разворота до разворота — сто десять шагов, и на промежуток между вторым крытым и платформой они не заглядывали ни разу, потому что там были кучи щебня и туда надо было лезть.

Баранов тронул меня за плечо и показал двумя пальцами вперёд.

Юдин с двумя бойцами ушёл первым и растворился у щебня. Осипов пополз влево, к присыпанному проводу, и я потерял его почти сразу — он полз хорошо, по-кошачьи, как

ползают связисты, которые всю жизнь таскают катушку на пузе.

Мы с Хвостовым вышли к платформе.

Площадка у мотора была завалена — вот это и была первая работа, о которой я заранее не подумал и которую увидел только вблизи: чтобы снять мотор с борта, надо было сначала убрать две снятые мостовые накладки, тяжёлые, скользкие, и моток проволоки.

Хвостов взялся за первую накладку, и она пошла с таким звуком, что у меня внутри всё оборвалось, — по железу, длинно.

Мы замерли.

Караульный у паровоза остановился, повернулся, постоял. Ветер бросил в нас снегом.

Он пошёл дальше.

Дальше мы таскали накладки по одной, с прокладкой из моей шапки под нижний край, и это было медленно, и я всё время чувствовал спиной, сколько минут уходит.

— Чисто, — выдохнул Хвостов.

Жаров и Тимохин поднялись на платформу. Верёвку они завели, как учил Круглов, — с двух сторон, выше середины. Я стоял внизу, сбоку, не под грузом, и держал конец, чтобы мотор не пошёл маятником.

Он пошёл вбок на первом же дюйме.

— Стой, — сказал Жаров, не повышая голоса ни на волос.
— Стой, стой. Лапой зацепился.

Мотор висел на четверть пальца над своими шпальными обрезками, и задняя лапа у него зашла под окантовку борта — та самая лапа с целыми болтами, которую велел брать Круглов.

— Хвостов, освободи проход, — сказал Жаров. — Вон тот кусок убери, он мне под ногу лезет. Тимохин, не тяни. Не тяни, я сказал. Дай слабинку на пол-ладони.

Тимохин дал. Жаров изменил угол — чуть-чуть, качнув верёвку от себя, — и лапа вышла.

И в эту секунду со стороны паровоза крикнули.

Крикнули не нам. Крикнули кому-то своему, но громко и тревожно, и сразу за этим ударила очередь — не по нам, вдоль состава, наугад, — и щебень у второго крытого зашуршал, и я услышал, как отвечает Юдин: два коротких, потом ещё два.

— Работаем, — сказал Жаров. — Не бросай верёвку. Опускай ровно.

Вот тут я понял одну вещь, которую раньше знал словами, а теперь узнал телом: быстро получается не тогда, когда все начинают дёргаться, а когда каждый продолжает своё.

Мотор сел на тележку. Тележка просела и заскрипела. Тимохин с Хвостовым уже вязали его к раме — накрест, как показывал Круглов.

— Крышка! — крикнул я. — Тимохин, коробка!

Он на секунду завис, потом сообразил, скользнул обратно на платформу, отвинтил — пальцами, без ключа, там была

барашковая гайка — маленькую жестяную крышку, сунул за пазуху и прыгнул.

Пусковой ящик лежал там же. Я взял его сам, потому что он был лёгкий.

Со стороны паровоза лязгнуло — длинно, по всему составу, от головы к хвосту: паровоз выбирал сцепки.

Баранов свистнул.

Свист был условленный: один длинный — прекратить набор, всё, что не в руках, оставить.

Я обернулся. Наш второй боец — Сёмушкин, из последнего пополнения, здоровый парень с деревенскими руками, — стоял у крытого с ящиком инструментов, который он успел выволочь, и ящик был тяжёлый, литой, из тех, которые жалко бросать именно потому, что они хорошие.

— Бросай! — крикнул я.

Он не бросил. Он потащил его к нам — а между ним и нами была сцепка, и через сцепку с таким ящиком не перелезешь, а обходить надо было в другую сторону, где ходил караул.

Я оставил пусковой ящик на тележке и пошёл к нему.

Он уже лез. Он поставил ящик на буфер, полез сам, и ящик пополз, и он ухватил его и повис между двумя вагонами, в том самом месте, где через полминуты должны были сойтись сцепки.

— Руку!

Он посмотрел на меня поверх ящика, и в лице у него бы-

ло упрямство, и вот это упрямство меня по-настоящему напугало.

— Сёмушкин. Ящик — бросай. Руку — давай.

Он разжал пальцы. Ящик упал между путей с тем звуком, с каким падает всё хорошее и ненужное. Я поймал его за запястье с другой стороны сцепки и вытянул к себе, и он перевалился, ободрав щёку о буфер, и мы побежали.

Состав двинулся, когда мы уже были на насыпи. Он двигался медленно, лениво, и лязг шёл по нему волной, и под этот лязг нас не было слышно совсем.

На спуске Хвостовские ступени себя оправдали. Мы сняли мотор с тележки наверху — тележка была рельсовая, дальше ей хода не было — и понесли вчетвером, а Хвостов и Сёмушкин шли рядом и меняли по счёту. Двести шагов оказались длиннее, чем двести шагов. На середине канавы Тимохин поскользнулся, и мы поставили мотор прямо в снег, и стояли над ним, дыша, как загнанные лошади, и я считал секунды и не давал считать вслух.

У сожжённой цистерны Баранов пересчитал людей.

— Восемь. Все.

— Линию резал? — спросил он у Осипова.

— Резал. Ту, которую видел, у самой будки, и концы развёл в стороны, чтоб не сразу срастили. — Осипов вытер нос рукавицей. — Только они всё равно заорали. Значит, у них было чем крикнуть и без провода.

— Значит, было, — сказал Баранов. — А будка молчала,

и нам этого хватило.

Юдин стоял без шапки — потерял её у щебня — и волосы у него были мокрые и уже схватывались на морозе. Он шагнул к Баранову.

— Товарищ сержант, я не пошёл за ним.

— За кем? — спросил Баранов.

— За тем, который побегал. Он побегал вдоль пакгауза, и у меня был сектор, и я его отпустил, как приказано.

— Правильно отпустил, — сказал Баранов.

— Он потом кричал, — сказал Юдин с непонятной обидой. — Из-за него и стрелять начали.

— Он бы и без тебя кричал, — сказал я. Юдин повернулся ко мне. Только ты бы в это время был у пакгауза, а не в проходе, и они бы вышли нам в спину.

Мотор мы проверили тут же, при свете Барановского фонаря, прикрытого рукой. Четыре лапы с болтами — целы. Клеммная коробка — на месте, крышка — у Тимохина за пазухой, он её вынул и показал, и на ней остался отпечаток его же пальца в масле. Вал — прямой; Жаров проверил, прокатив ладонью, и сказал: «Не бит».

Пусковой ящик остался на тележке у стрелки. Я вспомнил об этом на середине канавы. Возвращаться под выстрелы за ним не стал и никого не послал.

За тот ящик с инструментом, который я бросил между вагонами, у меня внутри осталась заноза, и она сидела всю дорогу. Хороший был ящик.

Но в мастерскую мы принесли то, за чем шли, и людей принесли столько же, сколько взяли.

Круглов не спал. Он сидел на табурете у холодного горна в телогрейке и валенках, и когда мы внесли мотор на двух жердях, он не вскочил и не обрадовался, а показал пальцем.

— Туда. На верстак не ставь, верстак не выдержит. На пол, на доски.

Потом он присел над мотором, как ветеринар над скотиной, и стал его смотреть: лапы, вал, коробку. Крышку взял у Тимохина, обтёр о фартук, приставил на место, покрутил барашек.

— Это ваша?

— Тимохин снял.

— Молодец Тимохин. — Он отложил крышку. — А пусковой ящик?

— Остался на тележке, — сказал я. — Когда снимали мотор, забыли. Потом было поздно возвращаться.

Круглов помолчал над разложенным железом.

— Людей из-за него не гоняй. Свой подберу от разбитого станка, только повозиться придётся. — Он нагнулся снова. — А вот это гнущее. Вот эта планка. Кто на неё наступил?

— Я, — сказал Хвостов. — На платформе.

— Значит, выбросим. У меня своя найдётся, я такие сам режу. — Круглов поднялся, охнув. — Николай Степанович, ты мелочь-то сохранил? Болты с шайбами?

Жаров вынул из кармана тряпицу и развернул её на вер-

стаке. Восемь болтов, десять шайб, две гайки.

— Вот за это спасибо, — сказал Круглов. — Без этого я бы тебе до обеда искал, чем прижать.

Мне досталось смотреть. Это было непривычно и, оказалось, полезно: я стоял и ничего не делал, кроме того, что подавал, когда просили, и таскал, когда говорили, и за эту ночь узнал про железо больше, чем за все свои прежние разговоры о нём.

Тимохину дали скребок и велели чистить посадочное место на салазках.

Он чистил минут пять, потом остановился.

— Семён Петрович, а чего мы время тянем? Он же встанет и так.

Круглов подошёл, забрал у него скребок, провёл им по салазкам и показал ученику на свет тонкую полоску слежавшейся грязи с окалиной.

— Встанет, — согласился он. — На вот этом встанет. И будет у тебя мотор стоять не на всех четырёх лапах, а на трёх с половиной. А ему крутиться. И он тебе всю ночь будет вот эту грязь трамбовать, пока не сядет косо, и вал у него пойдёт наперекос, и ремень слезет. Ты скребком сейчас три минуты работаешь, а мне потом неделю жить.

Тимохин взял скребок обратно и чистил уже без вопросов, и я заметил, что он стал чистить дольше, чем требовалось, — так бывает, когда человеку впервые объяснили, а не приказали.

Мотор поставили в четвёртом часу. Круглов затянул лапы накрест, не подряд, и подложил под одну тонкую пластинку, попробовав щупом зазор; потом долго возился с проводами и клеммами, бормоча под нос что-то злое про немцев, которые «жилу режут по живому, а не по колодке».

— Отойдите, — сказал он наконец. — Все отойдите, и руки уберите с железа.

Мы отошли. Пусковой ящик от разбитого станка уже стоял рядом, закреплённый на доске; Круглов проверил его ещё раз и включил рубильник.

Мотор взвыл, дрогнул и пошёл, и трансмиссионный вал под потолком закрутился, и по мастерской поплыл давно забытый здесь ровный гул, от которого сразу стало теплее, хотя теплее не стало.

Круглов слушал, наклонив голову.

Через полминуты он выключил.

— Чего? — сказал Жаров.

— Бьёт.

— Я не слышу.

— Ты машину слушаешь, а я станок. Мне на нём резец водить. — Круглов уже стоял на коленях с ключом. — Лапа третья. Я её перетянул, а надо было наоборот.

Он отпустил, переложил пластинку, затянул заново, и снова гонял вхолостую, и снова слушал, и только на третий раз сказал:

— Вот теперь ровно.

И даже тогда он не полез сразу к тому, что нам было нужно. Он взял из угла кусок какой-то старой оси, зажал в патрон и снял с неё стружку — тонкую, синеватую, завившуюся в спираль, — и после остановки станка подцепил эту стружку крючком, и посмотрел на неё, и только после этого повернулся к нам:

— Ну, показывай свой шкив.

Шкив с тягача Жаров принёс ещё с вечера. Он положил его на верстак рядом с обломком старого ремня и ничего не стал объяснять — просто положил рядом.

Круглов взял шкив, покрутил, провёл пальцем по ободу и остановился.

— Тимохин, иди сюда. Палец давай. Не бойся, не порежет, он тупой уже. Чувствуешь?

— Заусеница, — сказал Тимохин, не убирая пальца.

— Заусеница. А теперь смотри на ремень.

На обрезке ремня, у самого края, шла ровная косая насечка — как будто кто-то методично, по сантиметру, резал его ножом.

— Это она и резала, — сказал Круглов. — Каждый оборот по разу. Он у вас сколько прошёл?

— Один рейс с пушкой и обратно, — сказал Жаров.

— И порвался.

— И порвался.

— А ты его подтягивал?

Жаров помолчал.

— Подтягивал. Два раза.

— Вот и всё, — сказал Круглов и положил шкив на верстак ободом кверху. — Вот тебе, Тимохин, вся наука. Ремень грелся, потому что его резало. Николай Степанович, как человек честный, подтягивал — и прижимал его к этой самой заусенице плотнее. Чем он больше о нём заботился, тем быстрее его губил. А виновата железка на семь копеек.

Тимохин посмотрел на Жарова. Жаров пожал плечами — без обиды, спокойно, как человек, который в своём деле давно перестал стыдиться того, что не всеведущ.

Глава 5



— В поле я его иначе и не мог, — сказал он. — В поле у меня выбор: подтянуть или встать посреди дороги с пушкой на крюке.

— И правильно подтянул, — сказал Круглов. — Это называется — довести. А теперь будет называться — починить. Разница в том, что после починки ты про этот шкив год не вспомнишь.

Заготовку он выбрал из четырёх, простукав каждую. Потом мерил — и мерить заставил Тимохина, вдвоём, с обеих сторон, и трижды переспрашивал цифру, пока Тимохин не начал злиться.

— Я же сказал уже.

— А я тебе третий раз спрашиваю, потому что если ты соврал на полмиллиметра, я это узнаю через два часа работы, а ты — через неделю, когда ремень опять слезет. Давай ещё раз.

К рассвету стружка шла уже непрерывно, и Круглов стоял у станка, чуть сгорбившись, и лицо у него было такое, какого я у него раньше не видел: не усталое и не довольное, а отсутствующее. Он был там, у резца, и нас в мастерской не было.

Мне пришлось уйти: в шесть я должен был показаться у Бортникова, а в семь развести смены. Уходя, я велел Тимохину сменяться с Хвостовым каждые два часа и обязательно выспать Жарова хотя бы час.

— Зачем? — сказал Тимохин. — Мы и так дотянем.

— Жаров поведёт машину на пробу. Я не хочу, чтобы он вёл её после суток без сна. Он не для тебя спит, а для тех, кто на ней поедет.

Ремень искали уже утром, и это оказалось отдельным делом, которого я тоже не предвидел.

Я почему-то думал, что если есть станок, то на нём можно сделать всё. Круглов на это только фыркнул:

— Я тебе ремень не выточу. Ремень — не железо.

Жаров ходил по ремонтному хозяйству полдня. Он принёс три: один сразу отложил в сторону, потому что у него на изнанке шла сеточка трещин — «он год в холодном сарае лежал, он тебе лопнет на первом морозе»; второй померил и забраковал по ширине, узкий; третий, кожаный, сшитый, с латунными скрепками, он мял в руках долго, гнул на излом, смотрел на свет.

— Вот этот, — сказал он наконец. — Шов у него на сове-сти, но кожа живая.

Новый шкив сел на вал в третьем часу дня.

Первый пробный проход сделали без людей и без груза — метров триста по посёлку и обратно. Тимохин шёл рядом с машиной пешком и смотрел на ремень, как велели, и когда тягач остановился, доложил:

— Ползёт. К краю ползёт, к наружному.

— Сколько? — спросил Жаров.

— Вот столько. — Тимохин показал пальцами.

Круглов, который стоял тут же, в телогрейке поверх фар-тука, поставил на раму какую-то свою железную линейку с угольником и померил положение шкивов друг относительно друга.

— Перекос, — сказал он. — Не в шкиве дело, я его ровно сделал. У вас кронштейн повело. Ещё в тот раз, наверное, когда рвало.

Кронштейн правили молотком и подкладками ещё час.

Второй проход делали уже с нагрузкой: положили в кузов

мешки с песком, набрали примерно тот вес, который должен был поехать, и прошли круг побольше, с подъёмом от речки. Тимохин опять шёл и смотрел; ремень стоял на месте.

Только после этого позвали санитаров.

Жаров сам полез в кузов, обошёл его по кругу и вынес оттуда монтировку и две пустые железные банки.

— Это что? — спросил санитар.

— Это то, что на первом ухабе поедет носилкам под голову, — сказал Жаров. — Вот сюда кладите. Тут ровно и тут борт держит.

Раненых было четверо: трое лежачих и один сидячий, с рукой на перевязи. Их грузили долго, и я успел посмотреть только начало погрузки, потому что за мной уже прислали от Бортникова.

Я не стал подходить прощаться с машиной. Это было бы глупо: машина — не человек, а Жаров возвращался к вечеру.

Уже от угла я обернулся. Тягач стоял с работающим мотором, ровно, без той дрожи, которая у него была всю неделю, и пар от выхлопа шёл прямой струёй.

Круглов вышел к нему и сказал Жарову — я слышал через двор:

— Ты пиши, чего вам нужно. Я тут остаюсь. Мне район восстанавливать, а не за вами ездить.

— Диктуйте, — сказал Жаров и вынул свою замусоленную книжечку.

Мастер диктовал долго и по-хозяйски: какие резцы, какие

свёрла, какой размер ремня взять, если попадётся, и куда всё это привозить, и кому сказать, если его самого не будет — «жена скажет, где я».

Жаров записал и прочитал ему вслух, сверяя цифры.

Тимохин в это время подметал в мастерской стружку — не потому, что велели, а потому, что Круглов утром сказал: «У кого стружка под ногами, у того и в голове стружка». Когда я проходил, он поднял голову:

— Товарищ сержант, а можно я в следующий осмотр крепёж сам проверю? Николай Степанович сказал — можно, если вы разрешите.

— Проверь, — сказал я. — Только с ключом, а не пальцем.

— С ключом, — согласился он. — Пальцем — это не проверка.

Учебную тревогу я поставил на четыре часа дня, и это было единственное время, какое у меня оставалось.

Раньше нельзя было: те, кто ходил ночью, отсыпались, а проверять людей, которые не спали сутки, — значит проверять не выучку, а выносливость, и потом удивляться, что выучка плохая. Я дождался, пока их сменяют, пока они поедят и часа три полежат, и только тогда пошёл к Юдину.

Он сидел у землянки и чинил чужую варежку — не свою, чью-то, с пришитой поверх прожжённого места заплатой из шинельного сукна.

— Юдин. Через полчаса тревога. Проводишь ты.

Он воткнул иглу в варежку и посмотрел на меня.

— А вы?

— А я постою с краю. Учебная, по третьему варианту: горит крайний сарай, за сараем — противник, резерв поднимается по вызову. Начало — твоё. Разбор — общий.

— Товарищ сержант, а если я сделаю не так, как вы делаете?

Вот тут я мог бы ответить красиво. Я ответил коротко, потому что времени не было:

— Тогда объяснишь.

Дымовую шашку я взял ту, что лежала у нас с осени в ящике, — приберегали, а она за зиму отсырела и давала дым ленивый, стелющийся, что нам как раз и было нужно.

В половине пятого Хвостов запалил её за сараем, и Юдин крикнул тревогу.

И первое, что я увидел, мне не понравилось.

Отделение поднялось, разобралось, Юдин отдал распоряжение — и все, все до одного, повернули головы ко мне. Не нарочно. Просто у них за три месяца выработалась привычка: сказано — посмотреть на Гринёва, Гринёв кивнёт или поморщится, и тогда уже бежать.

Я не кивнул и не поморщился. Я посмотрел на Юдина — нарочно долго, так, чтобы они по моему взгляду пошли за ним.

Дошло не сразу. Дошло со второй фразы, когда Юдин повысил голос и назвал фамилии.

Дальше я стоял у края площадки и смотрел, и молчал, и это оказалось физически трудно — молчать. У меня два раза само собой поднималось горло сказать.

А на третий раз я не выдержал.

Резерв — три человека — Юдин поставил не там, где я ставил его всегда. Всегда он стоял за баней, в мёртвой зоне, откуда два броска: направо к плетню, налево к канаве. Это место я нашёл сам, проверил сам и был им доволен, как бывают довольны хорошей находкой.

Юдин увёл резерв к погребнице, на двадцать шагов левее и выше.

— Юдин! — сказал я.

Он обернулся. Отделение остановилось. Дым тянуло низко, вдоль огородов, и он полз ровно и густо, и пахло горелой резиной.

— За баню, — сказал я. — Резерв всегда за баней.

— Товарищ сержант, оттуда сегодня не видно Опарина.

— Что?

Юдин показал вдоль огородов, туда, где дым заволок про-ход.

— Опарина с Сёмушкиным не видно. От бани не видно. Ветер с утра зашёл, дым ложится в тот проход, и они из-за него пропадают, а от погребницы я их вижу и они меня.

Я открыл рот, чтобы сказать, что за баней две мёртвые зоны и что он не понимает, чего лишается.

И закрыл.

— Хвостов, — сказал я. — Возьми Дьячкова, идите к бане и станьте там, где резерв. И скажешь мне оттуда, видишь ли ты Опарина.

Они пошли. Я поднялся к Юдину на край погребницы: отсюда над плетнём были видны головы Опарина и Сёмушкина, а подход к бане тонул в сизом дыму. До Хвостова донеслось моё покашливание; секунды через сорок он отозвался.

— Не вижу! — крикнул Хвостов из дыма. — Не видать ни черта, товарищ сержант. Головой мотаю — не видать.

Я постоял ещё немного, глядя на этот низкий сизый дым, который шёл не туда, куда ходил всю прошлую неделю.

А потом я сделал то, чего мне очень не хотелось делать при всех: сказал.

— Отделение, слушай сюда. Резерв сегодня стоит у погребницы, и это правильно. Я вас всю зиму учил ставить его за баней — и я вас учил верно, но я сейчас ошибся. Я про место помнил, а про ветер забыл. Я его в голове оставил, каким он был вчера. Место не бывает хорошим само по себе, оно бывает хорошим при таком-то ветре и при таком-то снеге.

Кто-то — кажется, Дёмин — хмыкнул. Не насмешливо. Так хмыкают, когда слышали то, что сами видели, но не решились сказать.

— Второй заход, — сказал я. — Ведёт Юдин. Я не говорю ничего.

И я действительно не сказал ничего, ни разу, хотя один раз прикусил язык до боли.

Заход они провалили в середине — новенький, Кутепов, пришедший неделю назад, вместо того чтобы идти по канаве, пошёл верхом, по открытому, и красиво прошёл бы, если бы за плетнём кто-то был.

Я ждал, что Юдин сейчас его разнесёт. Я сам бы разнёс. Я знал даже, каким голосом: у меня для таких случаев был голос, которому я выучился ещё там, в прошлой жизни, — не крик, а низкое ровное «ты куда пошёл», после которого человеку хочется исчезнуть.

Юдин подошёл к нему и спросил:

— Ты что видел?

— Где?

— Со своего места. Ты стоял за углом. Что ты оттуда видел?

Кутепов подумал.

— Я плетень видел. И вон дерево.

— А канаву?

— Канавы не видел. Я про неё знал, что она есть.

— Знал, — сказал Юдин. — А не видел. — Он обернулся: — Опарин! Забери его и пройди с ним этот кусок ещё раз, только теперь ты первый, а он за тобой в трёх шагах, и на каждом повороте ты ему говоришь вслух, почему сюда, а не туда. Кондрат Силантыч, вслух — это условие.

— Понял, — сказал Опарин ворчливо. — Всю жизнь мечтал вслух.

Они прошли. Потом Кутепов прошёл один и прошёл пра-

вильно, и вылез из канавы с таким лицом, как будто нашёл деньги.

После отбоя мы с Юдиным стояли у землянки, и уже темнело, и дым над огородами расходился.

— Завтра смены как поставишь? — спросил я.

Он не полез в карман за бумажкой — значит, уже думал.

— Первая — Дёмин, Кутепов, Ерохин. Вторая — Хвостов с Дьячковым.

— А Сёмушкин?

— А Сёмушкина я вообще из первой смены убираю. Он ночью мотор тащил, потом за ящик держался, у него руки сейчас дрожат, я видел, как он ложку держал. Пусть до обеда спит. И Опарина не в первую: он с ночи хрипит.

— Ставь так, — сказал я. — Это твоё дело.

Он посмотрел на меня быстро и опять на снег.

— Товарищ сержант. Вы завтра уезжаете.

— Уезжаю.

— Мне сказали, я не поверил.

— Теперь верь.

Он помолчал, потом сказал то, чего я не ждал:

— Вы мне за баню не сердитесь?

— Юдин. — Я повернулся к нему. — Слушай меня внимательно, потому что второй раз такого случая у меня не будет. Если бы ты сегодня поставил резерв за баней, потому что так делает Гринёв, я бы тебе отделение не оставил. Я тебе его оставляю ровно за то, что ты его туда не поставил.

Ящик мы разбирали вечером, в комнате, при двух лампах. Он стоял у стены — тот самый, который Хвостов сколотил осенью и который потом дважды переделывали: сперва крышка открывалась не в ту сторону, потом мы приделали к ней внутреннюю планку, чтобы карты не сползали. За зиму он оброс всем, чем обрастает такая вещь: картами, тетрадями, конвертами, огрызками карандашей, катушкой ниток, коробкой с чужими пуговицами.

Я открыл крышку и отошёл на шаг.

— Разбирайте.

— Как это — разбирайте? — сказал Осипов.

— Так. У каждой вещи здесь есть хозяин, и это не я. Берите своё.

Осипов полез первым и вытащил журнал связи — толстую тетрадь в клеёнке, разлинованную его же рукой.

— Этот я забираю. Только, Андрей Кузьмич... — Он замялся. — Меня могут в любой день на линию дёрнуть, я с батареей связан. Кто журнал вести будет, когда меня нет?

Вот это был правильный вопрос, и я обрадовался, что задал его не я.

— Юдин, — сказал я. — Отвечай ты.

Юдин подумал.

— Дёмин пусть пишет. У него рука разборчивая, и он в связи чего-то смыслит. Осипов, ты его посади на два вечера и покажи, куда что.

— Он у меня в графах утонет.

— Значит, сделай ему графы попроще. Половина твоих граф всё равно только тебе понятна.

Осипов посопел и согласился — но с условием, что сокращённые графы он утвердит сам.

Карты Юдин разложил на столе и стал смотреть по одной, и тут меня ждала расплата.

— Вот это что? — Он показал на угол листа, где у меня стояла карандашная закорючка и две точки.

— Это... — Я посмотрел. — Это я осенью отмечал, где у них пристреляно.

— А точки?

— Точки — время. Одна точка — они били утром, две — вечером.

— А почему не написано?

— Потому что я писал для себя.

Юдин положил карандаш.

— Товарищ сержант, а вот эта петля? Вот тут, у мельницы.

— Это потом разберёшься.

Он не отошёл от стола.

— Я потом не разберусь. Я потом буду сидеть тут один и гадать, что вы имели в виду, и людей поведу по своей догадке.

Он был прав, и он был прав именно так, как бывает прав человек, который уже принял на себя дело.

Мы сидели над картами ещё сорок минут. Я расшифровывал всё: петлю у мельницы (там весной прошлого года бы-

ла гать, мне сказал старик из Дьяковки, и я собирался проверить, да не успел), крестики у брода, пунктир вдоль просеки, которым я обозначал не дорогу, а то, что по ней ходят сани. Юдин переписывал всё это своей рукой прямо на полях, буквами.

— Криво выйдет, — сказал он.

— Зато читаемо.

Тетрадей у меня было две.

Одна — общая, с записями занятий, с теми самыми тремя обязательными действиями, которые в декабре подписал Лавров, с корявыми чертежами: как ставить пары, как сигналить, как выводить раненого. Эту я положил обратно в ящик.

Вторая была моя. В ней я писал то, что не годилось в учебную: чего я боюсь, что у меня вышло случайно, а что я потом сумел повторить, и что именно я сделал не так под Взгорьем.

Эту я сунул в вещмешок.

И на секунду мне стало стыдно — как будто я забираю у них что-то общее.

— Осипов, — сказал я. — В ящике остаётся всё, по чему можно работать. У меня в мешке — только то, по чему работать нельзя, потому что это мои сомнения, а не наука. Если я вам когда-нибудь пришлю оттуда что-то путное, я пришлю переписанным.

— Да ладно вам оправдываться, — сказал Осипов. — Забирайте.

Недописанное письмо задержало нас дольше карт.

Оно лежало в конверте вместе с письмом, на которое было ответом, — от сестры Голубцова, того, что погиб в ноябре у водокачки. Она спрашивала, где могила и есть ли на ней что-нибудь, чтобы найти.

— Я начал и встал, — сказал я Юдину. — Потому что я знаю, что мы её ставили, а что там сейчас — не знаю. Мы оттуда ушли в декабре. Там сейчас сорок седьмой полк.

— И вы не написали?

— Я не хочу ей написать «стоит», а она поедет после войны и не найдёт.

Юдин взял конверт и повертел.

— Тогда так. Осипов завтра по линии спросит у сорок седьмых, живёт ли ещё та берёза у ограды и цел ли столбик. Ответят — я напишу. Не ответят — я напишу, что не знаю и что мы спрашиваем.

— Только не тяни.

— Я не потяну, — сказал он и написал на конверте сверху карандашом: «отв. после Осипова».

Это была его пометка. Не моя. И порядок он взял свой: сначала выяснить, потом писать, — а я бы, наверное, написал сразу два письма, первое сейчас, второе потом.

Я не стал исправлять.

Письма Александры лежали отдельно, в холщовом мешочке, перевязанном тесёмкой, и их никто не тронул и не спросил, и я забрал мешочек и сунул за пазуху при всех, и это было правильнее, чем прятать.

Домашние адреса — матери, Нюрки — я переписал себе на отдельный листок и положил к письмам.

Потом взял котелок.

Он лежал в ящике в углу, завёрнутый в тряпицу, с вмятиной на боку и с дужкой, которую Опарин чинил ещё в ноябре, проволокой, аккуратно, в три витка.

Я развернул его, протёр снаружи и изнутри — он был чистый, но я всё равно протёр, — и снова завернул, и уложил в мешок так, чтобы он лёг на бок и не помял письмо Марии Даниловны, которое ехало рядом.

Юдин смотрел.

— Не отдали, значит.

— Она написала: сохрани до встречи. Значит, до встречи.

— А если не встретитесь?

— Тогда кто-нибудь встретится, — сказал я. — Но лучше я.

Зиминая всё это время сидела в углу на табурете, с аппаратом на коленях, и не снимала.

Я её позвал сам, ещё утром, и она пришла к вечеру и спросила только: «Когда?» — и я сказал: «Когда будем разбирать». И вот она сидела и ждала, и за час не сделала ни одного кадра.

— Анна Владимировна, вы уснёте.

— Я работаю, — сказала она, не поднимая головы. — Вы сейчас делаете вид, что вы не прощаетесь, и это будет очень плохо видно, если я сниму вас сейчас. Через десять минут

вы забудете про меня, и тогда я сниму.

Она сняла два раза.

Первый — когда Юдин переписывал мои закорючки на поля карты, а Осипов держал над ним лампу и заглядывал через плечо, и виден был угол открытой крышки и мои руки, вынимающие тетрадь.

Второй — уже в дверях, случайно, когда Юдин переставлял ящик.

Строить нас она не стала. Она вообще ничего не сказала, только потом, собирая аппарат, обронила:

— Отпечатаю два. Один вам вышлю, когда будет адрес. Второй останется у них.

Я вышел, вспомнил, что не поправил загнутый угол карты — он у меня всегда загибался, и я его всегда расправлял и придавливал коробкой с пуговицами, — и вернулся.

Ящик стоял уже не у стены, а на полшага ближе к окну, развёрнутый крышкой в другую сторону. Юдин сидел перед ним на корточках и перекладывал в нём верхний слой: тетради — направо, конверты — налево, катушку с нитками он вообще вынул и поставил на подоконник.

Мне захотелось сказать, что у окна дует и бумага сыреет.
— Всё нашёл? — спросил я.

Он поднял голову.

— Нашёл. Я тут по-своему разложу, ничего?

— Раскладывай, — сказал я и вышел.

Прощание вышло на кухне, и вышло само, потому что

кухня была единственным местом, где к восьми вечера собирались все.

Никто не произносил речей. Дьячков разливал, Хвостов сидел у стены и чинил лямку, за окном подвывало, и на плите стоял чайник с отбитым носиком, из которого лили, придерживая крышку тряпкой.

Дьячков вытер руки и достал из-за печки палку.

— Вот, — сказал он. — Держи.

Это была указка. Настоящая, длинная, оструганная из сухой берёзы, с обточенным концом и с ручкой, обмотанной полоской кожи.

— Я тебе, Гринёв, вот чего скажу. Ты поедешь в школу, там у них карты на стенке. А ты будешь пальцем тыкать, как у нас. Пальцем тыкать — это не начальственно. Пальцем — это повар у котла.

— Спасибо, Аким.

— Погоди спасибо. — Дьячков забрал указку обратно, подошёл к столу и положил её вдоль столешницы, потом к расштанной ножке, потом поднял и посмотрел вдоль, зажмурив глаз. — Ровная. Я три сушил, две повело. У начальства должна быть хоть одна прямая вещь.

Хвостов дождался, пока я сяду, и молча положил передо мной карандаш. Половинку карандаша, честно говоря, — но заточенную с двух концов, и один конец был мягкий, а другой химический.

— Пробуй, — сказал он.

— Чего пробовать?

— Того. Бумагу давай.

Я оторвал клочок от газеты и провёл. Мягкий конец писал, химический — тоже, только надо было лизнуть.

— Идёт, — сказал Хвостов удовлетворённо. — А то я один раз такой подарил, а он не писал. Человек его месяц носил и меня всё это время вспоминал.

Сухари принёс Селиванов.

Он приехал с пустой тарой с хозяйственного двора — за бутылками и бидонами, — и сначала переделал своё дело: сам обошёл кухню, сам пересчитал, сам увязал в санях, и только потом отряхнул рукавицы и вытащил из-за пазухи узел.

— Агафья Никитична передала. Сказала: Гринёву, в дорогу, и чтоб не съел сразу.

Глава 6



Узел был тяжёлый и пах хлебом так, что за столом на секунду стало тихо.

— Разворачивай, — сказал Дьячков.

Я развязал. Сухари были ржаные, крупные, с солью, и ещё в тряпице лежал кусок сала, завернутый отдельно.

Я отсыпал половину на стол и придвинул к середине, а остальное завязал обратно.

— Всё-то не сыпь, — сказал Опарин с другого конца. — Правильно. А то мы дурные, мы съедим.

— Иван Матвеевич, — сказал я Селиванову. — Передайте ей, что дошло. И что я напишу, как будет адрес.

— Передам. — Селиванов сел на край лавки и взял кружку. — Она про тебя спрашивала, жив ли. Я сказал — живой, только замотанный.

Тимохин сидел у самого котла и уже минут пять ждал, когда его дослушают до конца, потому что он рассказывал, как надевали новый ремень на выточенный шкив, и его всё перебивали.

— ...и я говорю: Николай Степанович, а чего мы возимся, я вам сейчас его накину — и всё. Я его беру, накидываю — раз! — и он у меня сел, и я говорю: готово.

— Готово, — подтвердил Жаров, не поднимая глаз от кружки.

— А он мне: «Погоди». А я ему: чего годить, он же стоит. А он...

— А я ему сказал, — перебил Жаров, — какой стороной ты его положил.

Тимохин замолчал.

— Ну, — сказал Дьячков. — И какой?

— Изнанкой наружу, — сказал Жаров. — Он его наизнанку надел. Гладкой стороной на шкив, шершавой — на воздух.

Стол заржал. Тимохин побагровел до ушей и сидел с от-

крытым ртом, и я видел, как он решает: обидеться или досмеяться самому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.